— Ты чей?

НИЧЕЙ



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

КАЗАНЬ · 1979

Максим Неустроев

Ничей

«Автор»
2026

Неустроев М. А.

Ничей / М. А. Неустроев — «Автор», 2026

Казань, ноябрь 1979-го. Мокрый снег, запах креозота, из окон доносится «Место встречи изменить нельзя». Но за фасадами давно прячутся асфальты, улицы, где каждый обязан кому-то принадлежать. Пятнадцатилетний Максим Белозёров приехал сюда из Вологды. Тихий мальчик с ровными четвёрками, которого забывают через минуту. Он считает всё: выходы, руки в карманах, секунды до первого удара. Он умеет смотреть так, что собеседник начинает говорить лишнее. Но в этом городе быстро задают главный вопрос: "Ты чей?"Вокруг школы 117 стоят три асфальта: Кирпичка, Депо и Чайка. У каждого свои законы, своя касса, свои сборы и свои жертвы. Над ними капитан милиции, который торгует порядком. Рядом человек в сером пальто, чей взгляд задерживается на Максе дольше, чем следует. В школе очкарик Женя, которого обувают каждую неделю, и Лиля, которая замечает то, чего Максу хотелось бы не замечать. Ответ у Макса один: «Ничей». Это и вызов, и приговор.

© Неустроев М. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

АКТ ПЕРВЫЙ. АСФАЛЬТ 7
Глава 1. Смотри и считай 7
Глава 2. Девятый «Б» 23
Глава 3. Четыре секунды 34
Глава 4. Карта 43
Глава 5. Качалка 57
Глава 6. Ровные четвёрки 73
Глава 7. Дежурная аптека 85
Конец ознакомительного фрагмента. 86

Максим Неустроев
Ничей

РОМАН
НИЧЕЙ

Казань · 1979–1980
2026

АННОТАЦИЯ

Казань, ноябрь 1979-го. Мокрый снег, запах креозота, из окон доносится «Место встречи изменить нельзя». Но за фасадами давно живут асфальты — улицы, где каждый обязан кому-то принадлежать.

Пятнадцатилетний Максим Белозёров приехал сюда из Вологды. Тихий мальчик с ровными четвёрками, которого забывают через минуту. Он считает всё: выходы, руки в карманах, секунды до первого удара. Он умеет смотреть так, что собеседник начинает говорить лишнее.

Но в этом городе быстро задают главный вопрос:

— Ты чей?

Вокруг школы № 117 стоят три асфальта: Кирпичка, Депо и Чайка. У каждого свои законы, своя касса, свои сборы и свои жертвы. Над ними — капитан милиции, который торгует порядком. Рядом — человек в сером пальто, чей взгляд задерживается на Максе дольше, чем следует. В школе — очкарик Женя, которого обувают каждую неделю, и Лиля, которая замечает то, чего Максу хотелось бы не замечать.

Ответ у Макса один: «Ничей». Это и вызов, и приговор. Он хочет стать для улицы неудобной константой: не врагом и не своим. Но нейтральной полосы не бывает. Её приходится проводить самому, и каждая черта стоит чьей-то цены.

«Ничей» — история о взрослении на краю закона, о цене выбора и о том, что самые опасные люди умеют считать.

СОДЕРЖАНИЕ

АКТ ПЕРВЫЙ. АСФАЛЬТ
Глава 1. Смотри и считай
Глава 2. Девятый «Б»
Глава 3. Четыре секунды
Глава 4. Карта
Глава 5. Качалка
Глава 6. Ровные четвёрки
Глава 7. Дежурная аптека
Глава 8. Слухи
АКТ ВТОРОЙ. НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА
Глава 9. Студент
Глава 10. Такташка
Глава 11. Общак
Глава 12. Оливье
Глава 13. Корона
Глава 14. Стенка
Глава 15. Партия с капитаном
Глава 16. Сестра
АКТ ТРЕТИЙ. СЛОВО

Глава 17. Шёпот
Глава 18. «Москва слезам не верит»
Глава 19. «Дядя Гена»
Глава 20. «Отец»
Глава 21. «Крыса»
Глава 22. «Пробег»
Глава 23. «Четырнадцатое апреля»
Глава 24. «Ничей»

АКТ ПЕРВЫЙ. АСФАЛЬТ

Глава 1. Смотри и считай

Суббота, 10 ноября 1979 года

Казань встретила нас мокрым снегом и запахом креозота.

Снег летел не сверху, а откуда-то сбоку, с реки, и таял, не долетая до асфальта. Креозотом тянуло от шпал — тяжело, маслянисто, по-железнодорожному. Под этим запахом лежал второй, угольный: всю ночь в вагоне топили титан, и дым въелся в пальто, в волосы, в Настин вязаный шарф. Я спал плохо. От угольного дыма я всегда сплю плохо.

Скорый «Москва — Казань» встал у перрона в семь сорок. Рассвет никак не мог решиться. Над вокзалом — тёмно-красным, кирпичным, с белой отделкой и башенками, похожим на пряничную крепость, — висело низкое небо цвета остывшей золы, а электрические часы над перроном отставали от моих на две минуты.

Проводница тётя Зина — за ночь мы успели узнать, что у неё двое внуков в Зеленодольске и больная поясница, — открыла дверь, обмахнула поручень тряпкой и подала Насте руку. На форменной тужурке у неё блестели медные пуговицы со скрещёнными молотком и гаечным ключом.

— Ну, Вологда, с приездом, — сказала она и сунула Насте в варежку два куска рафинада в бумажной обёртке. На обёртке был нарисован поезд.

Настя посмотрела на него так, будто ей подарили настоящий.

Я сошёл последним, с самым тяжёлым чемоданом, и старательно делал вид, что он тяжёлый.

На перроне я насчитал сорок два человека, четырёх милиционеров и одного карманника.

Считаю я всегда. Это не талант, а привычка — вроде того, как другие грызут ногти. Ступеньки в подъезде. Окна в доме напротив. Людей в трамвае — и сколько из них носят часы на правой руке. Сорок два человека на перроне ничего не значат. Это просто сорок два.

Четыре милиционера — уже кое-что.

Двое молоденьких сержантов смотрели на девушек из соседнего вагона. Третий разглядывал своё отражение в вагонном стекле и поправлял шапку. Четвёртый — усатый старшина в шинели, тесной ему в плечах, — смотрел на карманника.

Карманнику было лет тридцать. Серое драповое пальто, кепка, шарф и лицо, которое забываешь, пока на него смотришь. У меня такое же. Поэтому я его и заметил: трудно не узнать собственный приём.

Правая рука жила у него своей жизнью, отдельно от лица. Лицо скучало и разглядывало табло. Рука работала.

В пяти шагах от нас толстый мужчина в пыжиковой шапке и пальто с каракулевым воротником ругался с носильщиком из-за рубля. Ругаясь, он развернулся, отодвинул с дороги Настю портфелем — не грубо, а так, как отодвигают сумку, которая мешает пройти, — и даже её не заметил. Мама пересчитывала чемоданы и тоже ничего не заметила.

Я заметил.

Через тридцать секунд карманник оказался возле толстого. Толчок в плечо. «Пардон, папаша». Левая рука заботливо, по-сыновьи, придерживает под локоть, правая уходит под каракулевый отворот. Полторы секунды. Бумажник, толстый, как его хозяин, исчез в рукаве серого пальто, и рука снова стала скучной.

Тут карманник поднял глаза и увидел, что я смотрю.

Полсекунды мы смотрели друг на друга. Потом он едва заметно улыбнулся, коснулся двумя пальцами козырька кепки и растворился в толпе у подземного перехода.

Усатый старшина проводил его взглядом, отвернулся и стал закуривать. Спички у него ломались. Он сломал три, прежде чем прикурил.

Так, не сходя с перрона, я узнал о Казани первое: здесь все всё видят. Видеть — не значит вмешиваться.

Через полминуты я применил это правило сам. Толстый мужчина всё ещё торговался с носильщиком и не знал, что спорит о деньгах, которых у него больше нет. Я мог бы его окликнуть. Но пять минут назад он отодвинул мою сестру, как сумку. Я тоже решил кое-чего не заметить.

Вокруг говорили по-русски и по-татарски, вперемешку, иногда в одной фразе. Женщина в пуховом платке тащила за руку мальчишку в кроличьей шапке и повторяла: «Әйдә, улым, тизрәк!» Я не знал ни слова, но понял всё. Мать торопила сына. Матери везде торопят одинаково.

— Макс, не отставай, — сказала мама и поправила на Насте шарф.

Я не отставал. Я никогда не отставал. Я просто смотрел.

* * *

Отец нёс два чемодана и коробку из-под болгарских консервов, перевязанную бельевой верёвкой. В коробке были книги. Мебель, посуду, телевизор и всё остальное отправили контейнером, малой скоростью — недели две, сказали на станции. Книги отец малой скорости не доверил.

— Тарелки, Оля, купим, — сказал он ещё в Вологде, когда мама пыталась отговорить его от коробки. — А Стругацких тут не купишь.

Заводской «рафик» ждал на привокзальной площади, между троллейбусной остановкой и лужей размером с хороший пруд. Водитель — коренастый татарин лет пятидесяти в кожанке на цигейке — увидел нас раньше, чем мы его.

— Белозёровы? Вологодские? — крикнул он через всю площадь, хотя нас ему никто не описывал. — Сюда, абый! Сюда давай!

Потом я понял, как он нас узнал. Мы были единственной семьёй на площади, которая не знала, куда идти.

Его звали Наиль. Он закинул наши чемоданы в салон так, словно они ничего не весили, — мой тоже, — и я с облегчением перестал делать вид.

На пальцах его правой руки синели буквы: Н, А, И, Л. На мягкий знак пальцев не хватило. Кололи в юности, сами, швейной иглой и тушью: буквы плясали, «И» завалилась набок. Лет в четырнадцать. В четырнадцать человеку кажется, что имя надо записать на себе — на случай, если его забудут.

— Вологда! — Наиль выруливал с площади одной рукой, а другой разминал папиросу: смял мундштук гармошкой, дважды, крест-накрест. — Вологда — это масло, да? Вологодское масло! Хорошее масло.

— Хорошее, — согласился отец. — Только оно всё в Москву уезжает.

Наиль захохотал так, что «рафик» вильнул.

— Как у нас! Всё хорошее — в Москву! Мясо — в Москву, масло — в Москву, хоккеисты — в Москву... — Он вдруг крутанул руль. — Крюк сделаю. Гостям Кремль положено. Без Кремля Казань не считается.

Кремль стоял на холме над рекой: белые стены, башни, синие купола собора в золотых звёздах. Над стенами поднималась красная кирпичная башня — ярусами, как детская пирамидка, — и она заметно клонилась набок.

— Падающая, — гордо сказал Наиль. — Сююмбике. Как в Италии, только наша лучше. Наша не падает.

— Мам, она правда падает? — спросила Настя.

— Нет, солнышко. Стоит. Просто криво.

— Как всё у нас, — сказал отец.

— Андрей, — сказала мама.

Отец засмеялся и поднял руки: сдаюсь.

Башня кренилась к северо-востоку. Я прикинул угол по линии стены: отклонение от вертикали — метра два, может, чуть меньше. Позже, в библиотеке, я нашёл справочник: метр девяносто восемь. Я ошибся на два сантиметра и был этим недоволен.

Потом Кремль кончился, и начался город.

Сначала дамба через Казанку — серая вода и ветер, который рвал с прохожих шапки. Потом заборы. Заборы, заборы, бетонные, с колючкой поверху, а за ними корпуса и трубы. Над одной трубой висел рыжий дым, густой и пушистый, как лисий хвост. Потом заборы кончились, и пошли деревянные дома с резными наличниками. Ворота у них были выкрашены в синий и зелёный так ярко, словно хозяева спорили с ноябрём. Из печных труб поднимался дым — уже не рыжий, а сизый, домашний. Дальше начались бараки — двухэтажные, деревянные, почерневшие от времени, с бельём, которое замёрзло на верёвках в форме людей.

У колонки на углу стояли пятеро в телогрейках и ушанках. Они ничего не делали — просто стояли. Когда «рафик» поравнялся с ними, все пятеро повернули головы — одновременно, как подсолнухи за солнцем, — и проводили нас взглядом.

Наиль перестал улыбаться.

— Пацаны, — сказал он, ни к кому не обращаясь. Потом покосился на отца: — Сын у тебя большой, абый? Сколько?

— Пятнадцать.

— Ай-яй, — сказал Наиль и молчал целый квартал. — У меня у самого четырнадцать. Я его в секцию отдал, на бокс. Думал — пусть хоть сдачи даст, если что. А он теперь сам... — Он пожевал папиросу. — Бокс, говорит, папа, — это чтобы с пацанами. Вот так.

— С какими пацанами? — спросила мама.

Наиль посмотрел на неё в зеркальце, потом на Настю — и что-то для себя решил.

— Ничего. Это так. У каждой улицы свои мальчишки. Тут Кирпичка — ваш район, значит. А там, — он махнул рукой куда-то назад, за трубы, — Теплоконтроль. Слышали — Тяпляп?

— Нет, — сказал отец.

— Ну и хорошо. В газетах не пишут, а весь город знает. Их сейчас судить будут, тихо стало. — Он помолчал. — Тихо — это хуже.

Мама нашла в полутьме салона Настину варежку и сжала её.

Наиль поймал в зеркальце мой взгляд.

— Малай, — сказал он. — Слушай меня. Спросят: «Ты откуда?» — говори правду, врунов тут не любят. Спросят: «Мотаешься?» — говори: нет. А если шапку попросят — отдай. Шапка — не голова.

— Как это — отдай? — Отец даже обернулся. — А милиция?

— Милиция, абый, приедет, протокол напишет. А шапки уже нет. А если не отдал — то и головы может не быть.

Отец ничего не ответил. Мама смотрела в окно.

— Спасибо, — сказал я.

Из трёх советов два были хорошими.

* * *

Дом был девятиэтажный, из серых панелей с белыми швами. Здесь его до сих пор звали новым, хотя ему шёл восьмой год. Он стоял на краю частного сектора, как часовой: с одной

стороны — крыши, сараи и огороды под снегом, с другой — пустырь, гаражи, котельная с высокой трубой, а за ними насыпь железной дороги.

У подъезда на лавке сидели две женщины в плюшевых жакетах и пуховых платках. Одна — маленькая, круглая, с лицом как печёное яблоко — поднялась нам навстречу раньше, чем Наиль заглушил мотор.

— Новенькие? На шестой? В двадцать четвёртую? — Она не спрашивала, а проверяла. — Рәхим итегез! Галия меня зовут. Галия-апа. Напротив вас живу.

Пока мы перетаскивали вещи к лифту, Галия-апа узнала, откуда мы приехали, кем работают родители, в какую школу пойдём мы с Настей и сколько Насте лет. Мама ничего ей не рассказывала. Галия-апа спрашивала так, что ответы выходили сами.

Я записал её в самые ценные источники информации в радиусе километра. Позже выяснилось, что я её недооценил.

В лифте пахло кошками и жареным луком. Кнопки были оплавлены спичками, на «шестёрке» пластмасса вздулась пузырём. На стенке кто-то нацарапал ключом: «КИРПИЧКА», «Ленка — дура», «ДМБ-79» — и маленькую кривую корону о трёх зубцах.

— Мама, тут корона, — сказала Настя.

— Не трогай, грязно, — сказала мама.

Квартира пахла свежей краской и чужой жизнью.

Завод отремонтировал её к нашему приезду: побелили потолки, покрасили рамы, переклеили обои. Новые обои клеили поверх старых, и в углу у окна край отошёл — под крупными цветочками обнаружились мелкие. На полу остались светлые прямоугольники там, где у прежних хозяев стояли шкаф и диван. Из стены торчал гвоздь, на котором висел ковёр. Ковра не было. Гвоздь остался.

Мама первым делом пошла к батареям. Приложила ладонь к одной, к другой — так она прикладывает ладонь ко лбу Насти, когда та кашляет.

— Горячие, — сказала она с недоверием. — Андрюша, они горячие.

— Казань топит, как Ташкент, — сказал отец. — Нам тут скоро пальмы выдадут. По ордеру.

Мама засмеялась — первый раз за всю дорогу.

Я проверил входную дверь. Древесно-стружечная плита, обитая дерматином, латунные гвоздики по контуру. Один английский замок с язычком в полсантиметра. Такую дверь выбивают плечом с одного удара, а замок открывают ученической линейкой. Линейка нашлась у меня в портфеле, и я проверил, пока никто не видел. Четыре секунды.

Нужен второй замок и цепочка. Я сказал об этом отцу так, как говорят пятнадцатилетние, — между делом и с ленцой:

— Пап, а замок тут какой-то хлипкий.

— Купим второй, — сказал отец. — Всё купим, старик. Дай только оглядеться.

На косяке двери в маленькую комнату остались карандашные отметки. Их закрасили белым, но в косом свете из окна они проступали, как вдавленные строчки на следующем листе блокнота. Черта, имя, год. «Рустем, 1971». «Рустем, 1973». «Рустем, 1975». Черты ползли вверх ровной лесенкой. Последняя стояла выше моей макушки: «Рустем, VIII.78».

— Смотри! — Настя прижалась к косяку спиной. — Я как Рустем в семьдесят третьем!

Рустем в семьдесят третьем был ростом с девятилетнюю Настю. Значит, родился году в шестьдесят четвёртом, как я. В августе семьдесят восьмого ему было четырнадцать, и он был выше меня нынешнего на два пальца. После августа семьдесят восьмого его больше не мерили.

Люди переезжают, отметки на косяках остаются. Ничего необычного. Я запомнил это и пошёл дальше.

Маленькая комната досталась нам с Настей. Настя тут же заняла подоконник — широкий, тёплый от батареи, — разложила альбом и цветные карандаши и объявила, что здесь будет её мастерская.

Я встал у неё за спиной.

С шестого этажа район был виден целиком — как доска перед первым ходом.

Прямо под окнами — хоккейная коробка: дощатые борта, облупленная зелёная краска, внутри затоптанный снег, льда ещё не заливали. Справа от коробки — два ряда кирпичных гаражей под жестяными крышами, а между рядами — проход, куда не доставал свет фонаря. У въезда в гаражи стояла будка сторожа с жестяной трубой, и возле неё на цепи бегала рыжая лохматая собака. За гаражами — котельная, приземистая, кирпичная, с высокой трубой и горой угля у стены. В подвал котельной вели ступеньки, и над подвальной дверью горела лампочка в проволочной сетке. Средь бела дня. Кто-то не берёг электричество — или кому-то было нужно, чтобы у этой двери всегда было светло.

Дальше — пустырь, из-под снега торчит бурьян. Пустырь пересекала теплотрасса: толстые трубы на бетонных опорах, в рваной стекловате и рубероиде, а вдоль них по снегу тянулась чёрная проталина — тропа, по которой ходят, когда не хотят мёрзнуть. Теплотрасса упиралась в бетонный забор, за забором поднималась насыпь, а за насыпью лежала сортировка: два десятка путей, цистерны, платформы, маневровый тепловоз. Через пути был перекинут пешеходный мост. На той стороне — двухэтажные дома, водонапорная башня и клуб с облупленными колоннами.

Слева, сколько хватало глаз, тянулся частный сектор — крыши, дымы, заборы — до самой трубы кирпичного завода. Кирпичка, как сказал Наиль.

Справа, за пустырём, стояла школа — трёхэтажная, буквой «П», из белого силикатного кирпича. За школой — ещё девятиэтажки, новее и выше нашей, а между ними плоская коробка кинотеатра. Над кинотеатром тянулись буквы: «ЧА КА». Буква «Й» не горела.

Фигур я пока не знал. Но доску уже видел.

У гаражей стояли подростки. Настя рисовала их — маленькими чёрными палочками в шапках.

— Это кто? — спросил я.

— Мальчики, — сказала Настя. — Они там стоят.

— Ты нарисовала троих.

— Их трое.

— Их четверо.

Настя прижалась носом к стеклу.

— Трое! Макс, ну ты что.

— Видишь, над углом крайнего гаража пар? Как будто кто-то дышит.

Настя всмотрелась.

— Вижу.

— Пар есть, а человека нет. Значит, человек за углом. Стоит и дышит, а пар поднимается над крышей.

Настя подумала, нарисовала за углом гаража ещё одну палочку и аккуратное облачко над ней.

— Ты как Шерлок Холмс, — сказала она.

В Вологде отец читал ей про Холмса, и с тех пор Настя считала, что все загадки на свете решаются трубкой и скрипкой.

— Холмс — выдуманный, — сказал я.

— Ты тоже немножко выдуманный, — сказала Настя и стала раскрашивать облачко голубым.

Я не нашёлся, что ответить. Со мной такое бывает редко.

* * *

В три часа мама дала мне рубль и авоську.

— Батон, половинку чёрного, молоко. Посмотри масло. И спички — папа просил. Сдачу не потеряй.

— Шапку надень, — сказал отец из комнаты. — Не зря же покупали.

Шапку он купил мне в Вологде перед самым отъездом: кроличью ушанку, серую, пушистую, на размер больше — «на вырост, и чтоб уши не отморозил на чужбине». Она стоила двенадцать рублей. Потом отец неделю не курил и делал вид, что бросает. Я знал, что он не бросает. Он экономил.

Я надел шапку.

Галия-апа сидела на лавке у подъезда, будто никуда и не уходила. Может, и не уходила.

— Куда, малай?

— За хлебом, Галия-апа.

— Ай, хороший мальчик. В гастроном иди, в соседний дом, там свежий. В булочную на Заводской не ходи — там чёрствый, и там... — Она поглядела в сторону гаражей и не договорила. — В гастроном иди.

— Спасибо.

— Вежливый какой, — сказала она соседке, когда я отошёл. В её голосе вежливость звучала как диагноз.

Двор я прочитал, пока шёл до гастронома. Шесть минут, если не торопиться. Я не торопился.

У угла девятиэтажки, лицом к дороге, топтался пацан лет одиннадцати — пальто нараспашку, руки в карманах. Он ничего не делал, только смотрел на дорогу. Когда со стороны остановки показался мужчина в форменной шинели — железнодорожник или милиционер, издали не разберёшь, — пацан коротко свистнул на две ноты, и у гаражей все разом повернули головы. Мужчина оказался железнодорожником. Пацан свистнул ещё раз, одной нотой, и головы отвернулись.

Две ноты — внимание, одна — отбой. Сигнальная система, простая, как у пожарных. Кто-то её придумал и кто-то научил ей одиннадцатилетнего мальчишку.

У гаражей стояли трое — уже не палочки с Настиного рисунка, а люди. Четвёртый, как я и говорил, — за углом. Снег перед ними был усыпан шелухой от семечек: полукругом, плотно, утоптанно. Здесь стояли часто, подолгу и всегда одинаково — спиной к стене, лицом к дороге.

Окурков в шелухе не было. Ни одного.

Я видел достаточно мест, где собираются подростки. Везде, где стоят подолгу, остаются окурки, пробки, плевки. Здесь — только шелуха. Здесь не курили. Не потому, что не хотели, а потому, что нельзя.

А раз нельзя — значит, кто-то запретил. Правила всегда кто-то устанавливает.

С пятого этажа, из форточки, закричала женщина:

— Во-о-ва! Зуев! Домой, кому сказала! Вова!

Один из троих у гаражей — худой, с выпирающими передними зубами — дёрнулся, как от удара током, и посмотрел. Не на окно — на самого крупного из троих. Крупный что-то сказал, двое других засмеялись. Худой остался на месте.

Мать звала его домой, а он смотрел на крупного. Этот двор я понял за одну эту секунду.

На торцевой стене крайнего гаража белела корона. Три зубца, под ними две буквы: «КР». Белила облупились, по кирпичу протянулись рыжие потёки — рисовали давно, год назад, а то и больше. Но вокруг короны стена была чистой. Ни «Ленки-дуры», ни мата, ни сердечек со стрелами. Рядом с короной никто ничего не писал.

Гастроном занимал первый этаж соседнего дома. Налево — «Хлеб», направо — «Молоко — мясо», посередине — касса. В «Мясе» на витрине лежали кости, обрубленные так, словно

мясо с них снимали в спешке, и ценник «Суповой набор». В «Хлебе» было тепло и пахло так, что очередь из семи человек стояла с закрытыми ртами.

На полке висела на верёвочке двузубая вилка — проверять, свежий ли хлеб. Ею никто не пользовался. Все давили батоны пальцами.

Масла не было. Был маргарин. «Вологодское масло, — подумал я, — сейчас едет в Москву».

Молоко продавали в бумажных пирамидках. У пирамидок было одно свойство: они всегда протекали с какого-нибудь одного угла, и никто заранее не знал, с какого. Я выбрал пирамидку, у которой все четыре угла были сухими. На это ушло полминуты, и женщина сзади успела дважды вздохнуть.

В витрине, поверх пирамиды из банок «Завтрака туриста», отражалась улица. В отражении у фонарного столба стояла маленькая фигурка в солдатской ушанке и смотрела внутрь, на меня.

Кассирша — белый халат поверх пальто, в гастрономе было не жарко — щёлкала костяшками счётов быстро и не глядя. Женщине передо мной она дала сдачу с трёх рублей. Та сгребла мелочь, не считая, и ушла. Кассирша ошиблась на пять копеек. В свою пользу.

Мне полагалась сорок одна копейка сдачи. Она дала тридцать восемь.

— Вы ошиблись на три копейки, — сказал я.

Кассирша подняла на меня глаза. Глаза были накрашенные, усталые и злые — не на меня, а вообще.

— Чего?

— Три копейки, — сказал я. — Батон, половинка чёрного, молоко, спички. С рубля — сорок одна.

— Ишь, — сказала кассирша. — Грамотный.

Но три копейки выложила на блюдечко. Не положила — шлёпнула.

— Спасибо, — сказал я.

— Правильно, сынок, — сказал старик у меня за спиной. — Они тут все обсчитывают.

— А ты, дед, не лезь, — сказала кассирша.

Три копейки — это билет на трамвай. Дело было не в трамвае. Своё я не отдаю — ни вещь, ни деньги, ни слово. Даже три копейки. Особенно три копейки: с них всё и начинается. Человек, который отдал три копейки, потому что неловко спорить, потом отдаст пятнадцать, потому что страшно, а потом шапку — потому что так положено.

Женщине с трёх рублей я ничего не сказал. Это были её пять копеек.

* * *

Обратно я пошёл другой дорогой, мимо гаражей. Выходило длиннее на сто сорок шагов. Мне нужно было посмотреть на гаражи вблизи.

Начинало смеркаться. В ноябре в Казани темнеет к четырём: солнце, которого весь день не было видно, уходило где-то за кирпичным заводом, и небо над заводской трубой из серого становилось грязно-жёлтым. Фонарь у гаражей ещё не зажгли.

Рыжая собака у будки сторожа облаяла меня — хрипло, взахлёб, как облаивают чужих. Сторож не выглянул.

Голоса я услышал раньше, чем увидел людей.

— ...С Чайки, говоришь? А на Кирпичке чё забыл? Чё забыл, спрашиваю?

Голос был ломкий, басовитый, с ленцой. Голос человека, которому некуда торопиться.

Они стояли в проходе между рядами гаражей, там, куда не доставал свет. Те самые трое. Крупный прижимал к железной двери гаража мальчишку лет тринадцати — в пальто, в кроличьей ушанке, почти такой же, как у меня. У ног мальчишки лежала авоська с пустыми бутылками. Зубастый — Вова Зуев, которого звали домой, — пританцовывал рядом. Третий отошёл к дальнему концу прохода и смотрел на тропу у котельной.

Я остановился у торца второго ряда, в тени, в двадцати трёх шагах от них. Спиной к стене, авоська в левой руке.

— Бутылки... сдать... — Мальчишка говорил так, словно ему не хватало воздуха. — Там пункт... на Заводской...

— Пункт, — повторил крупный. — Слышь, Зуб? Пункт у него.

— Мелочь есть? — Зуб полез мальчишке в карман, не дожидаясь ответа.

— Нету...

— А это чё, бля? — Зуб вытащил горсть монет и показал крупному. — Нету у него. Пиздит.

Крупный ударил мальчишку ладонью по щеке. Не кулаком — ладонью, звонко, наотмашь. Голова мотнулась и стукнулась о железо. Звук ушёл по проходу и вернулся от дальней стены.

Я считал.

Крупный — шестнадцать лет, может, семнадцать. Метр восемьдесят, килограммов восемьдесят, из них жира — пять. Телогрейка, ушанка, уши подвязаны на макушке. Широкое скуластое лицо, левая бровь рассечена старым шрамом, нос когда-то сломали, и он сросся с лёгким креном влево. Правша. Вес держит на правой ноге, левое колено бережёт — старая травма или свежий ушиб. Бьёт хорошо, от плеча, коротко. Если бы бил в полную силу, мальчишка уже лежал бы.

Зуб — пятнадцать, килограммов пятьдесят пять. Нервный, дёрганый. В драке побежит первым или ударит сзади. Скорее второе.

Третий, в конце прохода, — не боец. Смотрит на тропу, а не на нас. Шухер.

Сколько нужно, чтобы выключить обоих, считая подход: шесть секунд. Может, пять, если крупный не успеет развернуться. Он не успеет.

Свидетели: третий в конце прохода, двое пацанов у коробки, женщина с санками на тропинке у котельной. И ещё кто-то на крыше крайнего гаража: валенки, свесившиеся через край, и над ними — край солдатской ушанки. Тот, что смотрел на меня через витрину гастронома. Обогнал короткой дорогой.

Пятеро. В мой первый день в городе свидетелей не должно было быть ни одного.

— Шапку сымай, — сказал крупный.

Мальчишка вцепился в шапку обеими руками.

— Мамка убьёт...

— Мамка не убьёт, — почти ласково сказал крупный. — Мамка поплачет. А я — могу.

Он ударил кулаком в живот — коротко, без замаха. Мальчишка сложился пополам и сел в снег. Зуб сорвал с него шапку и нахлобучил себе на голову, поверх своей. Вышло смешно. Никто не засмеялся.

Восемь ударов. Пять ладонью, два кулаком в корпус, один коленом в бедро, когда мальчишка попытался встать. Ни одного кулаком в голову. Ни одного ногой.

Я провёл для себя черту. Если кто-то из них достанет нож или ударит лежачего ногой по голове — вмешаюсь. Не из жалости. Труп во дворе в первый же день — это милиция, обход квартир, вопросы соседям. И Галия-апа расскажет участковому, что новенький с шестого этажа стоял и смотрел.

Так я себе сказал. Я всегда себе так говорю.

Черту они не перешли. Они знали её лучше меня — она была у них в правилах.

Крупный бил не для того, чтобы сделать больно. Он бил, чтобы видели. Каждый удар был адресован не мальчишке, а Зубу, пацану на шухере, окнам девятиэтажки — и, может быть, тому, кто сидел на крыше. Чужая шапка была ему мала, она ему была не нужна. Он забрал её, потому что так положено.

— Пиздуй, — сказал крупный. — И чайковским своим передай: через Кирпичку — только по пропуску. Ещё раз увижу — ноги выдерну. Понял?

Мальчишка кивнул. Он плакал без звука — так плачут, когда стыдно плакать. Встал, сделал два шага, обернулся было за авоськой, но Зуб уже поднял её и взвесил на руке, как добычу: на кино хватит. Мальчишка побежал.

Он пробежал мимо меня в трёх шагах. Уши у него были красные, на щеке отпечатались пальцы. Меня он не увидел.

Женщина с санками прибавила шагу. В санках сидел ребёнок, закутанный до глаз; он, наоборот, обернулся и смотрел, пока мать не дёрнула санки. По дорожке от остановки шёл мужчина с портфелем. Он заглянул в проход — на мальчишку, на троих — и тоже прибавил шагу. Это была не трусость. Это был опыт. Он знал, что здесь бывает с теми, кто вмешивается.

— Э! — Крупный повернулся и посмотрел прямо на меня. Я не прятался, просто стоял в тени, а он заметил меня только сейчас. — Хули вылупился? Тоже хочешь?

Я молчал.

— Иди, куда шёл.

Я пошёл.

Не быстрее и не медленнее, чем шёл до этого. Женщина с санками прибавила шагу. Мужчина с портфелем прибавил шагу. Я — нет. Крупный этого не заметил.

Заметил другой.

Он спрыгнул с крыши крайнего гаража прямо передо мной — маленький, в телогрейке на три размера больше, с закатанными рукавами, в солдатской ушанке, на которой темнело невыцветшее пятно от звёздочки. Лет двенадцать. Под носом мокро, на губе прилипла шелуха. Глаза быстрые, жёлтые — как у кошки, которая живёт на помойке и прекрасно себя там чувствует.

— Слышь, вологодский, — сказал он. — Ты чё, ебанутый — так стоять? Бурый же и тебе мог навалять.

— Мог, — согласился я.

— И чё, не ссышь?

— Боюсь, — сказал я.

Он прищурился.

— Не пизди. Кто ссыт — тот бежит. Или в землю смотрит. А ты смотрел, как... — он поискал слово, — как мент. Как будто записываешь.

— Я смотрел, как человек, который несёт молоко, — сказал я. — Молоко может пролиться.

Он хрюкнул — это был смех — и пошёл рядом, подстраиваясь под мой шаг.

— Ты с шестого этажа, — сказал он. — Двадцать четвёртая, где Хабибуллины жили. Батя — инженер на ЭВМ, вас на заводском «рафике» привезли. Мамка — врачиха. Сеструха мелкая, белобрысая, как ты. С Вологды. Тебя в сто семнадцатую пишут, в девятый. А в девятом — Бурый. — Он сплюнул шелуху. — Повезло тебе.

Четыре часа. Мы прожили здесь четыре часа, а у этого шкета на нас уже было досье — подробнее, чем в отделе кадров.

— Откуда знаешь? — спросил я.

— Галия-апа, — гордо сказал он. — Галия-апа всё знает. А я знаю, чё знает Галия-апа.

Он был хорош. Не так хорош, как ему казалось, — но хорош.

— Ты чей будешь? — спросил он.

— Родительский.

Он остановился и посмотрел на меня с искренним восхищением.

— Не, ну ты в натуре ебанутый. Чей — это с кем ходишь. Кирпичка, Чайка, Депо. Мотаешься с кем?

— Нет.

— Значит, чушпан.

— Значит, ничей.

— Ничей тут я, — строго сказал он, словно я занял его место в очереди. — Меня не трогают, потому что я всем нужный. Я знаю, кто куда, кто с кем, у кого чё. А ты не ничей. Ты пока — никто. А никто — это хуже, чем чушпан. С чушпана хоть знают, сколько взять. А с никого сначала проверяют — сколько.

В этом была логика. Я её оценил.

— Драться умеешь? — спросил он.

Всё, что я скажу этому мальчишке, к вечеру будет знать двор, а к понедельнику — школа. Поэтому я сказал ему ровно то, что хотел донести до школы.

— Нет. Я в шахматы играю.

— В шахматы, — повторил он. — Бля-а... Ну, тогда тебе пиздец, шахматист. — Он сказал это без злорадства, как прогноз погоды. — Хочешь, расскажу, кто тут кто? Кого обходить, кому кланяться, куда не соваться. Двадцать копеек — и всё как есть. Дёшево.

— У меня нет двадцати копеек.

— Есть. Сорок одна. Я в окно видел, как ты Зойку на три копейки раскрутил. Зойку никто не раскручивал, а ты раскрутил.

— Это мамины.

— Ну, как хочешь. — Он пожал плечами, и телогрейка пожала плечами вместе с ним, с опозданием. — Придёшь ещё. Все приходят.

Мы дошли до коробки. Он не уходил.

— Корона на гараже — чья? — спросил я.

— О! — Он даже подпрыгнул. — Это вопрос на двадцать копеек.

Я пожал плечами и пошёл к подъезду.

Его хватило на четыре шага.

— Тяп-ляповская, — сказал он мне в спину. — С Теплоконтроля. Кирпичка раньше с ними... ну, не под ними, а так, рядом. Они нашим корону разрешили. Теперь их всех пересажали, суд будет. А корона осталась. Висит, как... — он опять поискал слово, — как портрет на стене, когда человек помер.

Я обернулся.

— А Депо?

— Депо — за путями. — Он махнул рукой в сторону моста. — Туда не ходи. Кирпичка — она так: побьёт и отпустит. А депошные не отпускают. — Он подумал и честно добавил: — Это я тебе бесплатно. Всё равно не поверишь.

— Как тебя зовут?

— Колька. Рябов. — Он вытер нос рукавом. — Сопля, если по-уличному. Но если ты меня Соплёй назовёшь — я тебе никогда ничего не продам.

— Хорошо, Колька.

Он ушёл, засунув руки в рукава, как старик. У коробки обернулся и крикнул:

— Шапка у тебя хорошая, шахматист! Снимут!

Его слабость обошлась ему в двадцать копеек: он не мог не показать, что знает. Это я тоже запомнил.

У подъезда я проверил пульс по часам. Шестьдесят четыре — на пять ударов больше обычного. Я списал это на холод.

* * *

Мама пересчитала сдачу на ладони.

— Сорок одна. До копейки.

— Масла нет, — доложил я. — Маргарин есть. Хлеб привозят в семь утра и в два — написано у кассы. Молоко — в восемь. Меньше всего народу в половине десятого. Кассирша обсчитывает, если не смотреть. В булочную на Заводской Галия-апа ходить не советует.

Отец засмеялся из комнаты:

— Оля, у нас в семье ревизор!

— Не ревизор, а хозяйственный мальчик, — сказала мама и поцеловала меня в макушку. Для этого ей пришлось подняться на цыпочки.

Про гаражи я не рассказал. Про мальчишку без шапки, про Кольку, про корону — тоже. Дома я был тем, кем меня считали. Это было не враньё. Это было единственное место, где я мог никого не просчитывать.

Ужинали на коробке из-под книг, застеленной «Правдой». Галия-апа одолжила сковородку, и отец пожарил картошку с луком — единственное, что он умел готовить и чем ужасно гордился. Табуреток не было, сидели на чемоданах. Настя заснула прямо за ужином, с куском хлеба в руке, и отец унёс её на раскладушку. Раскладушки завод выдал под расписку вместе с ордером.

За стеной у соседей работал телевизор. Было десятое ноября, День милиции, и по первой программе шёл праздничный концерт. Стена была тонкая, и слова доходили так отчётливо, будто пели у нас на кухне:

Наша служба и опасна, и трудна...

Я вспомнил старшину на перроне — как он ломал спички. Служба у него, наверное, тоже была трудная.

Если кто-то кое-где у нас порой...

Дальше я не слушал.

Ночью я лежал на раскладушке и слушал город.

В шахте за стеной гудел лифт — кто-то возвращался поздно. Наверху спустили воду. Пьяный голос во дворе выводил «Ой, мороз, мороз», сбивался и начинал сначала, и рыжая собака у гаражей лаяла на него хрипло, взахлёб, пока он не ушёл. Потом она облаяла кошку. Потом ветер. А за пустырём, за насыпью, не переставая лязгала сортировка: удар, скрежет, протяжный гудок, и женский голос из громкоговорителя, искажённый, как из-под воды: «...сорок седьмой — на девятый путь... на девятый...»

Казань не спала. Она лязгала.

В большой комнате шептались родители. Стенка была тоньше, чем им казалось.

— ...ты слышал, что этот водитель говорил? Андрюша, ты слышал?

— Оля, так везде. В Вологде за Заречьем тоже дрались.

— Не так.

— Ему здесь будет лучше. Новая школа, новые ребята. Забудет.

Пауза.

— Он не забывает, Андрюша. Он никогда ничего не забывает. Ты же знаешь.

Отец не ответил. Скрипнула раскладушка. Потом стало тихо — только сортировка за пустырём: удар, скрежет, «на девятый путь».

Я смотрел в потолок. Мама была права. Я никогда ничего не забываю.

Иногда я об этом жалею.

* * *

Воскресенье, 11 ноября

Я встал в пять сорок, без будильника. Будильник у меня в голове, и он ни разу не ломался.

Оделся в темноте: трико с вытянутыми коленками, старый свитер, кеды на шерстяной носок. Шапку не взял — голове полезно знать, что такое холод. Спустился пешком. На каждом этаже по четыре квартиры. Между четвёртым и пятым разбито окно. На третьем у мусоропровода кто-то оставил пустую бутылку из-под «Агдама». Лестница — это второй выход, а второй выход надо знать раньше первого.

На улице было минус четыре и темно, как ночью. Фонари горели через один. Было воскресенье, но у заводов с непрерывным циклом воскресений не бывает, и город в шесть утра

принадлежал рабочим. Они шли к остановке молча, по одному и по двое, курили в кулак и не смотрели по сторонам. Где-то за домами прозвенел первый трамвай. Пацанов не было ни у гаражей, ни у коробки. Пацаны в это время спали.

У улицы тоже есть расписание. Я его запомнил.

Я побежал вдоль бетонного забора железной дороги. До моста — тысяча двести шагов, обратно — столько же. В заборе было три дыры: одна в рост взрослого, две пониже, под подростка. Через взрослую ходили на работу. Через подростковые — по другим делам: снег у них был утоптан плотнее.

Мост через пути был железный, с решётчатыми перилами и обледенелыми ступенями. Единственная переправа на два километра в обе стороны. Кто держит мост — держит дорогу.

На мост я не поднялся. Колька советовал туда не ходить. Советам я не следую, но учитываю их.

Три круга. Рыжая собака у гаражей облаяла меня на первом, на втором лаяла лениво, для порядка, на третьем — всё равно лаяла. Чужой есть чужой. Потом теплотрасса: вдоль труб, по проталине, сквозь пар, пахнущий мокрой стекловатой и ржавчиной. Потом двор и выбивалка для ковров — железная рама с перекладиной на высоте двух метров. Тридцать подтягиваний, медленных, с остановкой наверху на счёт «три». Потом отжимания на кулаках, прямо в снегу. Потом то, что в Вологде соседи называли «Максимкиной зарядкой», а мама — гимнастикой.

Медленные движения, похожие на то, как двигаются под водой. Шаг, поворот, рука идёт по дуге, вес перетекает с ноги на ногу. В пять раз медленнее, чем нужно. Со стороны это выглядит смешно. Так и задумано.

«Командирские» я ношу на левой руке, циферблатом внутрь. Так не видно бликов, и время можно посмотреть, не поворачивая кисть. Мне так удобнее. Откуда эта привычка — неважно.

В шесть двадцать открылась дверь в подвал котельной.

Изнутри плеснуло жёлтым светом и лязгом железа — ритмичным, как ход маятника. Потом лязг стих, и по ступенькам поднялся человек. Лет двадцати. Без шапки, в одной майке и тренировочных штанах, с полотенцем на шее; от плеч на морозе поднимался пар. Он наклонился, зачерпнул снег обеими руками и растёр им грудь и лицо — неторопливо, как умываются у рукомойника.

Я стоял за рамой выбивалки, в тени, и не шевелился.

Стрижка короткая, под машинку. Спину держит так, как держат её те, кто два года учился держать её по команде. Плечи не накачанные, а рабочие, сухие — от турника и железа, но не для красоты. Костяшки плоские, в мозолях. Так набивают руку о мешок с песком. Долго. Годами.

Он выпрямился и посмотрел по сторонам. Взгляд прошёл по двору, по коробке, по выбивалке — и задержался на моей тени на полсекунды дольше, чем на всём остальном.

Он меня не увидел. Но что-то почувствовал. Хорошие инстинкты.

Потом он спустился обратно в подвал, и лязг возобновился.

Человек, который в шесть утра в ноябре выходит раздетым из подвала котельной, — либо кочегар, либо тот, кого слушаются кочегары. Этот был не кочегар.

Я не знал, как его зовут. Но знал, что познакомлюсь с ним раньше, чем мне этого захочется.

Обратно я пошёл мимо котельной. От неё пахло углём — тем же, что в вагоне, тем же, что везде, где топят углём. Котельные я знаю. Половину детства я провёл в одной из них — среди угольной пыли, рядом с человеком, о котором я не говорю.

Даже с собой.

* * *

Днём отец нашёл в коробке шахматы — старую деревянную доску, у белого ферзя откололота корона, — и мы сыграли на чемодане две партии.

Первую выиграл он. Вторую я свёл вничью.

Я всегда так делаю: одна — ему, одна — вничью. Если бы я выиграл, отец обрадовался бы. Он правда обрадовался бы — он такой. А потом начал бы думать. Отец считал, что мы играем примерно на равных, и рассказывал на работе, что сын у него — крепкий перворазрядник. Я не перворазрядник. Я ни разу не играл в турнире. Турнир — это таблица, а таблицы читают люди.

— Растёшь, — сказал отец, разглядывая ничейную позицию. — Ладьёй надо было на эф-семь, а?

— Наверное, — сказал я.

Ладья на f7 выигрывала в шесть ходов. Я видел это с двадцать второго хода. Отец не увидел. Это было хорошо.

* * *

Телевизор ехал вместе с контейнером, и в семь вечера Галия-апа постучала к нам в дверь.

— Кино сегодня, — объявила она тоном, не терпящим возражений. — Про милицию, с Высоцким. Новое. Все смотреть будут. А у вас телевизора нет. Әйдәгез, идёмте — у меня «Рекорд», места всем хватит. Я эчпочмаки напекла.

Квартира Галии-апы была зеркальным отражением нашей — и при этом совсем другой. Над диваном висел ковёр с узором, похожим на огромную снежинку. В серванте стояли хрусталь, семь фарфоровых слоников по росту и фотография мужчины в гимнастёрке с двумя медалями. «За отвагу», разглядел я, и «За боевые заслуги». Рядом — фотография помоложе: парень в рабочей спецовке на фоне огромного грузовика.

— Габдулла мой, — сказала Галия-апа, перехватив мой взгляд. — Четыре года как помер. А это сын, Айрат. В Челнах, на КамАЗе. Грузовики делает.

Мама сказала, что в среду выходит на первое дежурство — в травмпункт городской больницы.

— Ай, кызым, — Галия-апа покачала головой. — Там ночами наших мальчишек и зашивают.

Телевизор стоял в углу на тумбочке: чёрно-белый «Рекорд», на нём кружевная салфетка и фарфоровая балерина. Отец помог настроить комнатную антенну — рогатую, на подставке, — и изображение перестало дрожать. Когда он вернулся на место, оно задрожало снова. Отец ещё дважды вставал и садился, потом махнул рукой:

— Пусть дрожит. Высоцкий и в дрожащем виде Высоцкий.

Эчпочмаки оказались треугольными пирожками с мясом и картошкой, горячими, с дырочкой сверху. В дырочку Галия-апа налила каждому по ложке бульона — так положено, сказала она. Чай был с молоком, крепкий и тёмный, как дёготь. Насте досталась тарелка чак-чака — горка жареного теста в меду, — и к середине фильма Настя склеилась с ней намертво.

Кино началось.

Я смотрел не на экран, а на тех, кто смотрел на экран. Это интереснее.

Когда в кадре впервые появился Высоцкий, отец подался вперёд и тихо сказал: «Володя» — так говорят о старом друге. У отца было три катушки с Высоцким, переписанные с чьих-то катушек, переписанных с чьих-то ещё; на третьей копии слова приходилось угадывать. Отец угадывал все.

Мама смотрела, положив руку Насте на голову. Галия-апа комментировала — громко, по-русски и по-татарски — и время от времени говорила экрану: «Ай, шайтан!» Это относилось к бандитам.

А потом был эпизод с карманником.

Карманника звали Кирпич. Его взяли почти с поличным, но кошелька при нём не нашли — успел скинуть. И тогда Жеглов взял кошелёк и спокойно сунул ему обратно в карман. А когда Шарапов возмутился, Жеглов сказал — так, что было понятно: не одному Шарапову:

— Вор должен сидеть в тюрьме!

Отец хмыкнул.

— Прав, — сказал он. — И неправ.

— Андрей, не начинай, — сказала мама.

— Нет, Оля, ну смотри: он же ему подкинул...

— Андрей.

Отец замолчал, но было видно, что спор у него внутри продолжается — и спорит он не с мамой, а с Жегловым. Отец всю жизнь был Шараповым. Он верил, что правила — это и есть справедливость, а если правила несправедливы, их надо менять, а не нарушать. Верил так искренне, что я ни разу не решился сказать ему, как это выглядит со стороны.

Я думал о карманнике с перрона. Где-то в этом городе он сейчас сидел у телевизора и смотрел, как ловят такого же, как он. Интересно, за кого он болел.

И думал о старшине, который ломал спички. Он не был ни Жегловым, ни Шараповым. Он был третьим — тем, кого в кино не показывают, потому что про него неинтересно снимать. А в жизни таких больше, чем первых двух, вместе взятых.

В какой-то момент я встал налить чаю и посмотрел в окно.

Двор был пуст.

Ни души — ни у гаражей, ни у коробки, ни на теплотрассе. Горели фонари, светились окна — почти все, по всему дому, голубоватым телевизионным светом, — и снег падал на пустой двор, как на сцену, с которой ушли актёры. Даже лампочка над дверью котельной горела впустую.

Весь вечер вся Казань смотрела, как ловят бандитов. Бандиты тоже смотрели.

Наверное, это были самые спокойные полтора часа в городе за весь год.

Когда пошли титры, Галия-апа убавила звук и налила всем ещё чаю. Настя, у которой рот наконец освободился от чак-чака, спросила о том, о чём, видимо, думала весь вечер:

— Галия-апа, а кто такой Рустем? Он у нас на двери нарисован.

Галия-апа поставила чайник — медленно, двумя руками, как ставят что-то тяжёлое.

— Рустемчик, — сказала она. — Хабибуллиных мальчик. Хороший мальчик был. Тихий. На скрипке играл, в музыкальную школу ходил — с футляром. Я ему говорила: Рустемчик, футляр в сумку прячь. Не прятал.

Она помолчала.

— В прошлом году, осенью, возле школы его... Думали, не выживет. Голова. Два месяца в больнице лежал. Выжил. Только он теперь... — Она поискала слово и не нашла его ни на одном из двух языков. — Не такой. Хабибуллины к родне в Альметьевск уехали, квартиру заводу сдали. Вот вам её и дали.

Мама спросила — спокойно, профессионально, тем голосом, каким разговаривают в приёмном покое:

— Черепно-мозговая открытая была? Он был в сознании, когда привезли?

Галия-апа посмотрела на неё непонимающе. Мама опомнилась и покачала головой: неважно. Но я видел, что ей уже не всё равно: пальцы у неё на чашке побелели.

— А кто его? — спросил отец.

— Кто... — Галия-апа развела руками. — Пацаны. Кто их знает, какие. Никого не нашли. Милиция пришла, ушла. Милиция всегда приходит и уходит.

— За что? — спросила мама.

— За скрипку, — сказала Галия-апа. — За что ещё.

Она повернулась к маме и взяла её за руку сухой маленькой ладонью.

— Ольга, кызым. Ты меня послушай, я тут двадцать лет живу — сначала в бараке, теперь вот здесь. Сына вечером одного не пускай. После восьми — всё, дома. И шапку эту его... хорошая шапка, я видела. Снимут.

— Он у нас тихий, — сказала мама. — Он ни во что не лезет.

— Тихих как раз и трогают, кызым, — сказала Галия-апа. — Громкий — он с ними. А тихий — он ничей.

Отец ничего не сказал. Он держал чашку обеими руками и смотрел — не на Галию-апу и не на маму. На меня.

Я читаю людей так же, как другие читают вывески, — не задумываясь. Этот взгляд я прочитать не смог.

Или не захотел.

Через секунду отец отвёл глаза.

— Спасибо вам, Галия-апа, — сказал он. — И за кино, и за... эчпочмаки. Удивительная вещь. Оля, надо взять рецепт.

* * *

Ночью снова лязгала сортировка. Я лежал на раскладушке и подводил итог. Это тоже привычка.

Двое суток в Казани.

Одна контора — Кирпичка — с правилами, сигналами и кем-то, кто эти правила устанавливает. Ещё две — Чайка и Депо — пока только названия. Корона на гараже, которую год никто не трогал. Шкет, который продаёт всё, что знает, и не может не показать, что знает. Человек из подвала котельной, который почувствовал мою тень. Старшина, который ломал спички. Мальчик, которого больше не мерят на косяке.

И ушанка на вешалке в прихожей, которую, по общему мнению, с меня снимут.

Колька сказал: корона висит, как портрет на стене, когда человек помер. Я подумал, что портреты покойников снимают не сразу. Сначала их перестают протирать от пыли. Потом кто-нибудь вешает рядом свой.

* * *

Понедельник, 12 ноября

Отец ушёл в семь: первый день на заводе, новый галстук, который мама перевязывала ему дважды. В половине восьмого я повёл Настю в школу.

Под пальто на мне был синий школьный костюм, купленный в Вологде на вырост, и рукава доходили до костяшек. Это было кстати. Костяшки у меня не такие, как у человека, который играет только в шахматы.

Настя держалась за мой палец — ранец за спиной, мешок со сменкой в руке, октябрятская звёздочка на коричневом платье под пальто — и рассказывала, что новая учительница, наверное, будет доброй, потому что злых учительниц в третьем классе не бывает, это все знают.

Ночью шёл снег, и двор стал белым и чистым, как лист, на котором ещё ничего не написали.

Кто-то уже написал.

У гаражей стояли двое пацанов из скорлупы и, разинув рты, смотрели на торцевую стену. Потом один сорвался с места и побежал в сторону частного сектора — докладывать.

Корону перечеркнули.

Две толстые чёрные полосы крест-накрест, от зубца до зубца. Кузбасслак — чёрный битумный лак, которым здесь красят всё железное, от оград до батарей. Он пахнет даже на морозе. А над перечёркнутой короной тем же лаком, в три уверенных движения кисти, был нарисован другой знак: скрещённые молоток и гаечный ключ. Лак не успел высохнуть, когда ударил мороз, и потёки застыли на кирпиче чёрными сосульками.

— Молоточки, — сказала Настя. — Как у тёти Зины на пуговицах.

Она тоже смотрела. Она тоже запомнила. Я сжал её варежку чуть крепче, чем нужно.

Молоточки носят железнодорожники. Железная дорога — за пустырём, за теплотрассой, за мостом. Кто бы ни рисовал этот знак, он прошёл ночью через мост, через пустырь, через всю Кирпичку, с ведром лака в руке. Мимо котельной, где над дверью всю ночь горит лампочка. Мимо будки сторожа, в двадцати шагах от рыжей собаки.

Ночью, в четыре, я проснулся. Шёл снег, и было очень тихо. Тогда я не понял, что меня разбудило. Теперь понял.

Тишина.

Собака, которая в субботу облаяла меня, пьяного, кошку и ветер, этой ночью не лаяла ни разу.

У Конан Дойла это называлось «странное поведение собаки ночью». Странным было то, что собака ничего не делала.

Собаки не лают на своих. Значит, или рисовал свой, или свой стоял рядом и держал ведро.

— Макс. — Настя дёрнула меня за палец. — Мы опоздаем.

— Не опоздаем. У нас двадцать две минуты.

Я всегда знаю, сколько осталось времени. До звонка оставалось двадцать две минуты.

Сколько осталось Кирпичке, я пока не знал. Но уже начал считать.

Глава 2. Девятый «Б»

Понедельник, 12 ноября 1979 года

Школа номер сто семнадцать пахла хлоркой, мокрыми валенками и подгоревшей манной кашей.

Этот запах я узнал бы с закрытыми глазами в любом городе Союза. Хлоркой моют полы в шесть утра, валенки сохнут на батареях в раздевалке, кашу варят в столовой для продлёнки. Все школы пахнут одинаково. Различаются они другим.

Сто семнадцатая отличалась тем, что у входа стоял милиционер.

Не постовой — участковый, немолодой, с красным обветренным лицом и папкой под мышкой. Он ни с кем не разговаривал, просто стоял у крыльца и смотрел, как дети заходят в двери. Дети обходили его по дуге, как обходят лужу. Старшеклассники — по более широкой дуге, чем младшие.

Милиционер у школы в понедельник утром означает одно из двух: либо в воскресенье что-то случилось, либо в понедельник что-то случится. Я посмотрел на его ботинки. Ботинки были мокрые до шнурков, с белыми разводами соли и чёрной полосой на правом носке — как будто он долго стоял у свежевыкрашенной стены и случайно её задел.

Кузбасслак. Участковый уже сходил к гаражам.

— Макс, а он кого-то ловит? — шёпотом спросила Настя.

— Он смотрит, — сказал я. — Как я.

— А ты кого ловишь?

— Никого. Пошли, тебе на второй этаж.

Её учительница оказалась доброй — Настя была права, злых учительниц в третьем классе не бывает. Молодая, в вязаной кофте, с мелом на рукаве, она присела перед Настей на корточки, спросила, как её зовут, и сказала, что у них в классе как раз есть свободное место у окна, а у окна сидеть лучше всего, потому что видно небо. Настя посмотрела на меня. Я кивнул: лучше всего. Хотя лучше всего, конечно, видно дверь.

Себя я сдал завучу.

Роза Габдулхаковна ждала меня у учительской — высокая, прямая, в тёмно-синем костюме с комсомольским значком, хотя комсомольский возраст она оставила лет двадцать назад. Волосы стянуты в узел так туго, что казалось, будто это они держат ей лицо. Она взяла мой табель из Вологды двумя пальцами, как берут чужое письмо.

— Белозёров, — прочитала она. — Максим Андреевич. Девятый класс. — Пробежала глазами оценки, подняла брови. — Четыре. Четыре. Четыре. Четыре... Ни одной тройки и ни одной пятёрки.

— Да, — сказал я.

— За четыре года.

— Да.

— Так не бывает, — сказала Роза Габдулхаковна.

— Бывает, — сказал я. — Я старательный, но не очень способный.

Она посмотрела на меня поверх табеля. Это был взгляд человека, который двадцать лет работает в школе и видел всех: хулиганов, отличников, симулянтов, вундеркиндов, детей, которые врут, и детей, которые не умеют врать. Я выдержал его так, как выдерживает старательный, но не очень способный мальчик: смотрел чуть ниже её глаз, на значок, и немного переминался с ноги на ногу.

— Ладно, — сказала она. — В «Б» пойдёшь. В «А» мест нет. — Она сделала паузу, словно решала, говорить или нет. — В «Б» контингент... разный. Будут проблемы — ко мне. Не к классной, не к участковому — ко мне. Понял?

— Понял.

Это был самый честный совет за утро. Роза Габдулхаковна не обещала меня защитить. Она обещала знать.

* * *

Девятый «Б» занимал кабинет литературы на третьем этаже, в конце коридора. Портреты на стене: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Горький, Маяковский — в одинаковых рамах, на одинаковом расстоянии, и все смотрели в разные стороны, как будто не хотели друг друга видеть. Под портретами — стенд «Ленин и литература», под стендом — горшок с геранью, у которой засох один лист.

Пятнадцать парт. Двадцать восемь учеников. Два окна во двор, одна дверь. Батарея под задним окном, и задние парты у батареи — самые тёплые.

Я сосчитал это за то время, пока классная руководительница вела меня от двери к доске.

— Ребята, — сказала она. — У нас новенький. Максим Белозёров. Приехал из Вологды.

Нина Аркадьевна была маленькая, седая, в сером шерстяном платье с белым воротничком, и говорила так, как в Казани не говорил больше никто: мягко, с длинными гласными, с той ленинградской вежливостью, за которой стоит сталь. Когда она произнесла «Вологда», это прозвучало как название города, а не как диагноз.

Ей было за пятьдесят. На тыльной стороне левой ладони у неё белел старый шрам от ожога — неровный, как карта. И ещё одна деталь, которую я заметил, когда она взяла со стола мел: она съела крошку, упавшую с булочки, которую кто-то оставил на учительском столе. Подобрала двумя пальцами с газеты и съела. Машинально, не думая, как люди делают то, что делали всю жизнь.

Так подбирают крошки те, кто помнит, что такое сто двадцать пять граммов хлеба. Блокада.

— Вологда, — громко сказали с задней парты. — Вологда-гда-гда-а!

Класс засмеялся. Это были «Песняры»: три года назад их «Вологду» крутили по радио каждый день, и, видимо, в Казани до сих пор считали, что ничего смешнее этой песни про мой город не придумано.

Я посмотрел, кто пел.

Он сидел за последней партой у окна, у батареи, развалившись так, что спинка стула касалась стены. Без телогрейки, в школьном пиджаке, который был ему тесен в плечах, и всё равно я узнал его сразу: широкое скуластое лицо, шрам через левую бровь, нос с креном влево. Он вытянул ноги в проход и бережно положил левую поверх правой. Левое колено.

Бурый.

Рядом с ним, через проход, сидел Зуб — в той же позе, только помельче, как отражение в кривом зеркале. Он смеялся громче всех и смотрел при этом не на меня, а на Бурого: хорошо ли смеётся.

— Хайруллин, — сказала Нина Аркадьевна, не повышая голоса. — Вы поёте хуже, чем Мулявин. И даже хуже, чем кошка, которая живёт у меня на лестнице. Это я вам как человек со слухом говорю.

Класс засмеялся снова, теперь уже над Бурым. Бурый не обиделся — ухмыльнулся и развёл руками: мол, ну, не Мулявин. Нина Аркадьевна была одним из немногих людей в этой школе, кому Бурый позволял над собой смеяться. Я запомнил это.

А потом Бурый посмотрел на меня внимательнее. Узнавание пришло к нему медленнее, чем ко мне, — секунды через три. Я видел, как оно пришло: чуть сузились глаза, чуть дрогнул уголок рта.

— О, — сказал он. — Авоська.

Он сказал это не громко, но в классе стало тихо. Не потому, что это было смешно. Потому что Бурый что-то знал про новенького, а класс не знал, и класс хотел знать.

— Вы знакомы? — спросила Нина Аркадьевна.

— Виделись, — сказал Бурый.

— Нет, — сказал я.

Мы сказали это одновременно, и это было хуже, чем если бы мы оба сказали одно и то же. Нина Аркадьевна перевела взгляд с него на меня, задержала его на мне на секунду дольше, чем нужно, — и ничего не спросила.

— Садитесь, Максим, — сказала она. — Вот сюда, к Шустову. Женя, подвинься.

* * *

Женя Шустов сидел за третьей партой в среднем ряду — самое беззащитное место в классе. Слишком далеко от учительского стола, чтобы учительница видела, что происходит, и слишком близко к задним партам, чтобы задние не дотягивались.

Он подвинулся так поспешно, что уронил пенал. Пенал был деревянный, с выжженным на крышке парусником. Внутри, кроме ручек и карандашей, лежала маленькая отвёртка с синей ручкой и моток тонкого провода.

Очки в чёрной роговой оправе, одна дужка обмотана изолентой. Волосы, которые мама, судя по ровной линии чёлки, стрижёт сама, по кастрюле. Указательный и средний пальцы правой руки — в мелких точечных ожогах, старых и свежих. Паяльник. На запястье — часы «Электроника» с красными цифрами, которые загораются, когда нажимаешь кнопку. Такие стоили рублей сто, может, больше, и носить их в этом классе было всё равно что носить на шее табличку.

Он тоже это знал. Часы были надеты под манжету рубашки, циферблатом внутрь. Как у меня. Только у меня — чтобы не было бликов, а у него — чтобы не отобрали.

— Привет, — сказал он, глядя в парту.

— Привет.

— Ты... это. — Он понизил голос до шёпота. — Ты Бурого откуда знаешь?

— Я его не знаю.

— А он тебя знает.

— Он меня видел, — сказал я. — Это не одно и то же.

Женя посмотрел на меня поверх очков, как на человека, который не понимает, во что вляпался. Потом снова уставился в парту. В парте, под учебником литературы, лежал журнал «Радио» с закладкой из трамвайного билета.

Первым уроком была литература. Проходили «Отцов и детей».

— Итак, — сказала Нина Аркадьевна, — мы остановились на том, что Базаров называет себя нигилистом. Кто напомнит классу, что это такое?

Тишина. В классе стало слышно, как скрипит стул под Бурым.

— Сафина, — сказала Нина Аркадьевна.

С первой парты у окна поднялась девочка.

Я заметил её сразу, как вошёл, — потому что она заметила меня. Не так, как остальные: остальные смотрели на нового человека, а она смотрела на то, что новый человек делает. Тёмные волосы в тугой косе, брови вразлёт, коричневое форменное платье с чёрным фартуком, на фартуке комсомольский значок, а под партой, на коленях, — книга, которую она закрыла пальцем, не дочитав страницу. Я разглядел корешок: «Стругацкие». Обложка была обёрнута газетой, но корешок не обернёшь.

— Нигилист, — сказала она, — это человек, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением этот принцип ни был окружён. Это Тургенев, Аркадий Кирсанов, глава пятая.

— Прекрасно, Лиля. А своими словами?

— Своими? — Лиля Сафина чуть повернула голову. Не к Нине Аркадьевне — к задним партам. — Своими — это человек, который не верит тому, что все вокруг считают правилами. Пока ему не докажут.

— Ну, бля, — сказал кто-то сзади, не очень тихо. — Комсорг заговорила.

— Ещё одно слово, Зуев, и вы будете доказывать мне правила склонения у доски, — сказала Нина Аркадьевна, не оборачиваясь. — Садись, Лиля, пять. А теперь давайте спросим нашего нового товарища. Максим, вы читали «Отцов и детей»?

— Читал.

Я читал «Отцов и детей» в одиннадцать лет, и дважды. Второй раз — потому что в первый раз мне показалось, что Базаров умер глупо, и я хотел проверить. Во второй раз мне показалось то же самое.

— Как вы думаете, Базаров прав?

Это был хороший вопрос. На него можно было ответить на пятёрку: про то, что Базаров отрицает всё, кроме того, что можно потрогать, и поэтому проигрывает единственному, чего потрогать нельзя. Можно было ответить на тройку: «прав, потому что он за прогресс». Я ответил на четвёрку.

— Отчасти прав, — сказал я. — Он прав, что правила надо проверять. Но он ошибается, когда думает, что можно жить совсем без них. Тогда за тебя правила установит кто-то другой.

Нина Аркадьевна смотрела на меня секунды три.

— Неплохо, — сказала она. — Четыре.

Я сел.

Потом, на перемене, я понял, что ошибся. Ответ был не на четвёрку. Последняя фраза была лишней. Её произнёс не старательный, но не очень способный мальчик из Вологды, а я. Нина Аркадьевна это услышала — поэтому и молчала три секунды.

И Лиля Сафина это услышала. Она не обернулась. Но перестала держать палец в книге.

* * *

На перемене весь класс говорил о двух вещах: о Жеглове и о гараже.

О Жеглове говорили громко.

— «Вор должен сидеть в тюрьме!» — басом орал кто-то у окна, растопырив пальцы, как Высоцкий. — Видели, как он Кирпичу кошелёк подсунул? Вот это мужик!

— Шарапов — лох, — сказал кто-то другой. — Чистенький. С войны пришёл, а ведёт себя как пионер.

— Сам ты лох, Шарапов — разведчик!

— Сегодня вторая серия, — сказала Танька Гурьева, сидя на подоконнике и болтая ногами в югославских сапогах. Сапоги стоили рублей семьдесят, если доставать по блату, и сто двадцать — если у фарцы. — Мне Олег сказал, там Горбатого покажут.

— Твой Олег всё знает, — фыркнула её соседка.

— Мой Олег с Чайки, — сказала Танька таким тоном, каким другие говорят «мой Олег — капитан дальнего плавания». — Чайковские всё знают.

На запястье у неё был браслет из бусин с медной бляшкой. На бляшке отштамповано: «MONTANA». Бляшку срезали с джинсов. Джинсы у Олега с Чайки, значит, были настоящие, и он ими делился. Я запомнил: у Чайки есть доступ к фирме.

О гараже говорили тихо.

Сзади, у батареи, вокруг Бурого собрались пятеро. Говорили вполголоса, наклонившись друг к другу, и до меня долетали обрывки:

— ...молотки, бля, прямо на короне...

— ...Сухой знает?

— ...с утра уже знает. Злой, как...

— ...депошные, кто ещё. Через мост пёрлись, суки...

— ...а собака-то чё? Чё, собака спала, что ли?

— Завали, — сказал Бурый. Не громко. Все замолчали.

Он сидел, глядя в окно, и я видел его профиль: желваки ходят, пальцы правой руки стиснуты в кулак так, что побелели костяшки. Ему было не до Жеглова.

Я сложил одно с другим.

Ночью кто-то с той стороны путей прошёл по асфальту Кирпички и нарисовал свой знак поверх её короны. Теперь об этом знает весь район. Для Кирпички это не просто краска на стене. Это публичная пощёчина — такая же звонкая, как та, которую вчера Бурый влепил мальчишке с Чайки за гаражами. Пощёчину надо вернуть, иначе завтра молоточки нарисуют на двери школы. Но вернуть её Депо — это война со старшими, и решать это будет не Бурый, а тот, кого они зовут Сухим.

А Бурому злость нужно куда-то деть уже сегодня. Ему нужно показать — пацанам, Зубу, самому себе, — что Кирпичка есть. Что она бьёт.

Новенький, тихий, ничейный, которого Бурый уже один раз видел испуганным у гаражей, подходил для этого идеально.

Я не ошибался. Я редко ошибаюсь в таких вещах. Просто в этот раз мне было бы удобнее ошибиться.

* * *

— Белозёров.

Лиля Сафина стояла у моей парты с тетрадью в клеёнчатой обложке. Женя рядом со мной втянул голову в плечи — не от неё, а на всякий случай.

— Ты комсомолец?

— Да.

— Учётная карточка с тобой? Надо поставить тебя на учёт в школьной организации. Я комсорг.

— Я слышал, — сказал я. — «Комсорг заговорила».

Уголок её рта дёрнулся — не улыбка, а её предупреждение.

— Зуев считает, что это оскорбление, — сказала она. — Зуев вообще многое считает. В основном до десяти.

Я достал из портфеля карточку и протянул ей. Она переписала номер в тетрадь — быстро, ровным почерком отличницы, — но карточку не вернула сразу. Держала двумя пальцами и смотрела не на неё, а на меня.

— Можно вопрос? — сказала она.

— Можно.

— Ты, когда вошёл, сначала посмотрел на окна. Потом на дверь. Потом на задние парты. И только потом — на доску. Ты всегда так входишь?

Женя перестал дышать.

Хороший вопрос. Второй хороший вопрос за утро — и оба мне задают женщины в этой школе. Мне стало интересно, сколько ещё вопросов они зададут, прежде чем я начну отвечать на них неправильно.

— Я в новом классе, — сказал я. — Я смотрю, где что.

— Все в новом классе смотрят на людей, — сказала Лиля. — А ты смотрел на выходы.

— Окна — это не выход. Третий этаж.

— Вот, — сказала она. — Именно. Ты это посчитал.

Мы смотрели друг на друга, может быть, две секунды. Глаза у неё были карие, тёмные, внимательные и совсем не злые. Ей было интересно. Это хуже, чем злость: злость проходит, а любопытство — нет.

— У меня папа инженер, — сказал я. — Он всё время считает. Наверное, от него.

— Наверное, — согласилась Лиля. И вернула карточку. — Что читаешь, кроме Тургенева?

— Всё подряд.

— Стругацких читал?

— «Трудно быть богом».

— И как?

— Румата зря снял обруч, — сказал я.

Это снова вылетело само. Второй раз за утро. Я начинал понимать, что с этой девочкой мне придётся быть осторожнее, чем с Бурым.

Лиля посмотрела на меня так, словно я сказал что-то неприличное. Потом — очень медленно — улыбнулась.

— Все говорят, что он зря его не снял раньше, — сказала она.

— Все ошибаются.

— Посмотрим, — сказала Лиля Сафина, сунула тетрадь под мышку и пошла к своей парте. На полпути обернулась: — Белозёров. Совет хочешь? Бесплатный.

— Сегодня все дают мне бесплатные советы.

— Значит, тебе они нужны, — сказала она. — Не ходи после уроков через гаражи. Иди через Чайку, по Строителей. Там длиннее, зато светло.

— Спасибо.

— И не говори «спасибо». Это не за что.

Она села за свою парту и снова открыла Стругацких. Я видел только её затылок, косу и край обложки, обёрнутой «Комсомольской правдой».

— Ты чё, — прошептал Женя, который всё это время сидел не дыша. — Ты с Сафиной разговаривал.

— Она со мной.

— Она ни с кем не разговаривает. Ну, кроме как по делу. У неё брат — Марсель. С Чайки. Боксёр. — Женя сглотнул. — Его даже Бурый не трогает.

Брат на Чайке, у которого есть джинсы. Значит, это не только про Таньку и её Олега — чайковские сидят в этом классе гораздо ближе, чем кажется. Я отложил это на потом.

* * *

На большой перемене все пошли в буфет.

Буфет был на первом этаже, рядом со столовой: восемь столиков, покрытых клеёнкой в клетку, прилавок, а за прилавком — тётя Валя в белом халате и колпаке, огромная, как печь, с руками, которые могли бы удержать на месте любого из пацанов. На прилавке на подносах лежали пирожки с повидлом по пять копеек, с ливером по десять, булочки «Школьные» с изюмом по шесть копеек. Чай в гранёных стаканах — три копейки. Чай был сладкий, а стаканы — горячие, держать их надо было за самый край.

Я взял пирожок с повидлом и чай. Восемь копеек. Мама дала мне с утра пятнадцать — «на буфет» — и я пересчитал сдачу, не глядя, по весу монет в ладони.

Потом сел так, чтобы видеть дверь.

Это не было решением. Это было привычкой, как дышать. Стена за спиной, дверь — в поле зрения, окно — справа. Женя, который пошёл за мной, как утёнок, сел напротив, спиной к двери, и я видел, как ему от этого неуютно. Он то и дело оглядывался через плечо.

— Ты чего не ешь? — спросил я.

— Так. — Он смотрел на свой пирожок. — Сейчас Зуб пойдёт.

И Зуб пошёл.

Он двигался от столика к столику, как кондуктор в трамвае. Останавливался, наклонялся, что-то говорил. Пацаны за столиком лезли в карманы и что-то клали ему в ладонь. Он не бла-

годарил. Он кивал и шёл дальше. Ни крика, ни угроз, ни подзатыльников. Всё было тихо, привычно и буднично, как сдача пустых бутылок.

Я считал.

Восемь столиков он прошёл, у шести взял. Я видел монеты: по пять копеек, по десять, один раз двадцать. Ни у одного он не взял всё — только часть. Ровно столько, чтобы человек всё ещё мог поесть. Ровно столько, чтобы завтра у него снова было что взять.

Это был не грабёж. Это был налог. С тех, кто не мотается. Каждый день — по пятаку, по гривеннику. Тридцать чушпанов в одной только параллели, по десять копеек в день, пять учебных дней в неделю: пятнадцать рублей в неделю. Шестьдесят за четыре недели — почти половина зарплаты Жениной мамы, если она, как я подумал, медсестра или библиотекарь. Деньги шли не Зубу. Зуб был кондуктором. Деньги шли выше.

Женя уже держал в кулаке десять копеек. Он держал их заранее, чтобы не рыться в кармане, когда подойдут. Чтобы было быстрее.

Это было самое печальное, что я видел за два дня в Казани. Не мальчишка без шапки у гаражей — тот хотя бы сопротивлялся. А вот это: человек, который заранее приготовил деньги, чтобы его грабили побыстрее.

Зуб подошёл к нашему столику. Женя молча протянул гривенник. Зуб сунул его в карман, не глядя, и повернулся ко мне.

— Ну чё, Авоська. Новенький. — Он ухмыльнулся, показав зубы, из-за которых получил кличку. — С тебя пятнадцать. Новенькие платят больше. За прописку.

— Нет, — сказал я.

Зуб моргнул. По-моему, он решил, что ослышался.

— Чё?

— Нет.

Зуб растерянно оглянулся. Не на меня — к двери буфета. В дверях стоял Бурый, прислонившись плечом к косяку, засунув руки в карманы, и смотрел.

Он подошёл неторопливо. Пять шагов от двери до нашего столика он шёл секунд десять, и за эти десять секунд в буфете стало так тихо, что я услышал, как за прилавком у тёти Вали капает в ведро вода из крана.

Бурый остановился у нашего столика. Сверху вниз посмотрел на Женю — Женя съёжился, — потом на меня.

— Ты откуда? — спросил он.

Это был не вопрос. Точнее, вопрос, но не тот, который звучит. «Ты откуда» на улице значит: «с кем ты? Кто за тобой стоит? Сколько мне будет стоить тебя тронуть?» Наиль сказал: на этот вопрос отвечай правду.

— Из Вологды, — сказал я.

Кто-то за соседним столиком прыснул и, не удержавшись, тихонько затянул: «Вологда-гда-гда...» Бурый даже не повернулся, но пение оборвалось.

— Это я слышал, — сказал Бурый. — Я спрашиваю, тут ты откуда. С кем ходишь?

— Ни с кем.

— Мотаешься?

— Нет.

— Значит, чушпан, — сказал Бурый. Не зло — так врач говорит «значит, ангина». — Мелочь есть?

— Есть.

— Давай.

— Нет.

Тишина в буфете стала плотной, как вата. Тётя Валя за прилавком перестала протирать стакан и замерла с полотенцем в руке. Где-то за столиком у окна кто-то положил ложку, очень осторожно, чтобы не звякнуть.

Бурый смотрел на меня.

Я смотрел на него.

Я видел, как он думает. Видел по тому, как дёрнулась у него щека, как сжался кулак в кармане, как он перенёс вес на правую ногу и как остановился. Он хотел ударить. Очень хотел — со вчерашнего вечера, с утра, с той минуты, как узнал про молоточки на короне. Но здесь был буфет. Здесь была тётя Валя с руками, как у грузчика, а за стеной столовая, где обедают учителя, а у крыльца стоит участковый, который с утра ходил к гаражам. Если Бурый ударит меня здесь, это будет уже не уличное дело, а школьное, и тогда к нему придёт не Сухой, а Роза Габдулхаковна. А это, судя по тому, как он помедлил, было для Бурого хуже.

Он был не дурак. Он посчитал.

Мне это понравилось. С тем, кто считает, можно иметь дело.

— Ладно, — сказал Бурый тихо. — Ладно, Авоська.

Он наклонился ко мне. Совсем близко. От него пахло снегом, мылом и чем-то железным — так пахнут руки после штанги.

— После уроков, — сказал он. — За гаражами. Придёшь один — по-людски поговорим.

Выпрямился, кивнул Зубу и пошёл к двери. Зуб посмотрел на меня с откровенной, почти восторженной ненавистью — так смотрят на человека, которого сейчас будут бить, и ты будешь при этом присутствовать, — и побежал следом.

В буфете снова заговорили. Сначала шёпотом, потом громче. Тётя Валя снова стала протирать стакан. Кто-то снова звякнул ложкой.

Женя смотрел на меня так, как смотрят на человека, который только что шагнул с крыши.

Я откусил пирожок. Повидло было яблочное, кислое, и его было мало — как всегда в школьных пирожках. Я доел пирожок, допил чай и отнёс стакан на прилавок.

— Спасибо, — сказал я тёте Вале.

Тётя Валя смотрела на меня сверху вниз — огромная, белая, с полотенцем в руке.

— Сынок, — тихо сказала она. — Ты бы... ты бы дал ему пятнадцать копеек. Я тебе свои дам.

— Спасибо, — сказал я. — Не нужно.

* * *

Четвёртым уроком была алгебра. Математичка — полная, в очках на цепочке, с голосом, которым можно было бы объявлять поезда на сортировке, — вызвала меня к доске «посмотреть, чему учат в Вологде».

Квадратное уравнение с параметром. Решение я увидел раньше, чем она дописала условие. Я написал его на доске — аккуратно, по шагам, как пишут старательные, — и в четвёртой строчке потерял минус. Не везде, а только в одном месте, чтобы ответ вышел неверным, но было видно, что метод я знаю.

— Ну вот, — сказала математичка с удовольствием, как человек, подтвердивший свою догадку. — Метод правильный, а в арифметике — каша. Четыре, Белозёров. Внимательнее надо.

— Хорошо, — сказал я.

Минус я терял уже лет пять. Всегда в разных местах. Это сложнее, чем кажется: ошибка должна выглядеть случайной, а случайные ошибки у людей неслучайны — они ошибаются там, где устали, там, где отвлеклись, там, где цифры похожи. Я изучал чужие ошибки так же внимательно, как правильные решения.

Возвращаясь к парте, я прошёл мимо последнего ряда. Бурый на меня не смотрел — смотрел в окно, на гаражи, которые отсюда были видны как на ладони. Зуб смотрел. Зуб провёл большим пальцем по горлу и подмигнул.

Я сел.

— Он тебя убьёт, — прошептал Женя, не поворачивая головы.

— Не убьёт.

— Ты не знаешь.

— Знаю. Позавчера он бил мальчишку с Чайки. Восемь ударов, и ни одного кулаком в голову. У них правила.

Женя повернулся ко мне. За стёклами очков его глаза казались больше, чем были на самом деле, и в них было что-то, чего я сразу не понял.

— Рустем Хабибуллин, — сказал он. — Ты знаешь, кто это?

— Он жил в нашей квартире.

Женя дёрнулся, будто его ударили.

— В твоей?..

— На косяке остались отметки. Рост.

Женя долго молчал. Математичка писала на доске следующее уравнение, мел скрипел.

— Мы с ним в шахматный кружок ходили, — сказал наконец Женя очень тихо. — При ДК железнодорожников. Он сильнее меня играл. Сицилианку любил. — Он помолчал. — Говорят, его за скрипку побили. Галия-апа так говорит, все так говорят. Это неправда. Его за «нет» побили. Он им один раз сказал «нет». Как ты сейчас. В буфете.

— Кто?

— Не знаю. Никто не знает. — Женя опустил глаза. — Говорят, депошные. А может, и не депошные. Там темно было.

— Его тоже звали «по-людски поговорить»?

— Не знаю, — повторил Женя. И вдруг добавил со злостью, которой я от него не ждал: — Тебе-то что? Ты у Бурого с утра — Авоська. А через неделю будешь, как я. С гривенником в кулаке. Все так. Я тоже сначала думал...

Он не договорил.

— Шустов, — сказала математичка, не оборачиваясь. — Если ты так любишь разговаривать, иди к доске и поговори с уравнением.

Женя пошёл к доске. Решил уравнение без единой ошибки, быстро, почти не думая, и я видел, как в этот момент — у доски, с мелом в руке — он выпрямился. Совсем немного. Секунды на три. Потом положил мел и снова стал Женей Шустовым, который держит гривенник заранее.

— Пять, — сказала математичка. — Учись, Белозёров.

— Буду, — сказал я.

* * *

На последней перемене я спустился на второй этаж, к третьему «А».

Настя сидела у окна — того самого, где видно небо, — и рисовала. Рядом с ней сидела девочка с двумя косичками, обе склонились над одним альбомом и о чём-то шептались. За четыре урока Настя успела обзавестись подругой. У неё это всегда получалось быстрее, чем у меня. У меня, честно говоря, это не получалось вообще.

Я поговорил с её учительницей. Да, Настя остаётся на продлёнку до пяти. Да, её заберёт мама, ей уже позвонили в учительскую. Нет, никаких проблем, чудесная девочка.

— Макс! — Настя увидела меня в дверях и замахала альбомом. — Смотри! Это Гульназ! Мы рисуем Кремль. Падающий!

— Не падает, — сказал я. — Стоит. Просто криво.

— Ну да, — согласилась Настя. — Ты домой?

— Скоро. Тебя мама заберёт. Я задержусь.

— А ты куда?

— Поговорить, — сказал я. — С одним мальчиком.

Настя кивнула: мальчики вечно с кем-то разговаривают. Гульназ посмотрела на меня круглыми чёрными глазами и что-то шепнула Насте на ухо. Настя засмеялась.

Я пошёл наверх и на лестнице остановился у окна.

Отсюда, со второго этажа, гаражи были видны сбоку: два ряда жестяных крыш, проход между ними, будка сторожа, рыжая собака. И торцевая стена крайнего гаража — с перечёркнутой короной и молоточками. Кто-то уже пытался их закрасить: поверх чёрного лака белело неровное пятно извёстки, и сквозь извёстку всё равно проступали молоточки. Кузбасслак извёсткой не закрасишь. Это знает любой, кто хоть раз красил батарею.

Я стоял у окна и считал варианты. Их было три.

Первый: не идти. Пойти через Чайку, по Строителей, как советовала Лиля Сафина. Там длиннее, зато светло. Тогда завтра в буфете Бурый подойдёт снова, и уже не будет стоять у двери, а сядет за мой столик. А после уроков меня встретят не втроём, а вчетвером. Не пришёл — значит, испугался. Испугался — значит, чушпан. Через неделю — гривенник в кулаке.

Второй: пойти и проиграть. Дать себя побить — немного, для порядка, по правилам, восемь ударов и ни одного в голову. Отдать пятнадцать копеек. Стать Авоськой, которая платит. Тихо, безопасно, никто ничего не заметит. Ни Колька, ни Лиля, ни Роза Габдулхаковна, ни участковый с ботинками в кузбасслаке. Ни отец.

Это был самый разумный вариант. Я рассмотрел его очень внимательно.

И отказался.

Не из гордости — гордость тут ни при чём. Из арифметики. Человек, который заплатил пятнадцать копеек, потом заплатит рубль, а потом снимет шапку, потому что так положено. А потом его встретят возле школы — тихого, со скрипичным футляром, — и он скажет «нет» один раз, слишком поздно, когда это уже никого не убедит.

Платить дешевле только в первый день. Потом это самая дорогая вещь на свете.

Третий: пойти и выиграть. Тогда весь вопрос в том, как. Выиграть так, чтобы никто не понял, что я выиграл. Чтобы это выглядело как везение, как случайность, как гололёд. Чтобы Бурый не потерял лицо при своих — потому что человек, который потерял лицо, не успокаивается, а приводит старших. Чтобы Колька, если он опять будет сидеть на крыше, не продал на следующий день правду за двадцать копеек.

Это было трудно. Это было интересно.

Я посмотрел на часы. Тринадцать пятьдесят две. Уроки кончались в два.

* * *

Звонок прозвенел, и класс высыпал в коридор, как мелочь из перевёрнутого кошелька.

Я собирал портфель медленно. Женя собирал свой ещё медленнее — тянул время, чтобы выйти вместе со мной, а может, наоборот, чтобы не выходить. Я не стал его спрашивать.

Бурый прошёл мимо нашей парты, не останавливаясь. Зато остановился Зуб. Наклонился ко мне, упёрся руками в парту и сказал, дыша мне в лицо ливерным пирожком:

— Слышь, Авоська. Бурый сказал — передать. Если не придёшь, завтра мы сами к тебе придём. Шестой этаж, двадцать четвёртая. — Он улыбнулся во все свои зубы. — И сеструху твою мелкую мы тоже знаем. Белобрысенькая такая. Третий «А». Понял?

Он выпрямился и пошёл к двери, насвистывая «Вологду».

Женя рядом со мной перестал дышать. Наверное, он что-то увидел у меня на лице. Не знаю что. Я не почувствовал, чтобы у меня на лице что-нибудь происходило.

Я закрыл портфель. Застегнул обе застёжки. Поправил ремешок часов на запястье.

До этой минуты варианта было три.

Теперь остался один. И этот вариант больше не был интересным. Он был необходимым.

— Макс, — сказал Женя. Впервые по имени. — Макс, не ходи. Я серьёзно. Скажи Розе. Скажи участковому. Скажи хоть кому-нибудь.

— Скажу, — сказал я. — Когда будет что сказать.

У двери кабинета стояла Лиля Сафина. Она не уходила, она ждала — не меня, конечно, просто стояла у стенда «Ленин и литература» и делала вид, что читает цитату про партийную литературу. Когда я проходил мимо, она сказала, не поднимая глаз:

— Через Строителей. Там светло.

— Я помню, — сказал я.

— Ты не пойдёшь через Строителей.

— Нет.

Она подняла глаза. Мне показалось, что она хочет что-то сказать — что-то важное, может быть, про брата, может быть, про Чайку. Но она только кивнула. Коротко, как кивают человеку, которого уважают, хотя не одобряют.

— Тогда смотри под ноги, — сказала Лиля. — Там у второго гаража яма под снегом. В прошлом году Танька там ногу подвернула.

Это был первый совет за два дня, которого я не знал.

— Спасибо, — сказал я.

— Не за что, — сказала Лиля Сафина. И на этот раз «не за что» прозвучало так, словно было за что.

На крыльце школы уже не было участкового. Был только снег, следы, и в конце дорожки — у поворота к пустырю — фигурка в солдатской ушанке. Колька Рябов сидел на перевёрнутом ящике у забора и лузгал семечки, и когда я спустился с крыльца, он встал, отряхнул телогрейку и не спеша, как человек, у которого билет на хорошее место, пошёл в сторону гаражей.

Билет на представление. Двадцать копеек вход.

Я пошёл следом.

Семь минут до гаражей, если не торопиться. Я не торопился. Под ногами скрипел свежий снег, со стороны сортировки долетал лязг, а над кирпичным заводом стоял рыжий дым и не двигался — ветра не было.

Ветра не было. Это хорошо: на снегу будет хорошо видно следы.

Яма у второго гаража. Гололёд у будки, где сторож выплёскивает воду из ведра. Фонарь, который ещё не горит. Три человека, может, четыре. Один из них бережёт левое колено.

Я считал.

Глава 3. Четыре секунды

Понедельник, 12 ноября 1979 года, 14:09

Они ждали меня там же, где позавчера ждали мальчишку с Чайки, — в проходе между рядами гаражей.

Это было разумно. Проход не просматривался ни из окон девятиэтажки, ни с дороги, ни от остановки. С одной стороны — будка сторожа, с другой — пустырь и котельная. Свидетели здесь бывают только случайные, а случайные свидетели, как я уже знал, в Казани прибавляют шагу.

Их было четверо.

Бурый стоял посередине прохода, в телогрейке поверх школьного пиджака, ушанка с подвязанными ушами сдвинута на затылок. Руки в карманах. Он стоял так, как стоят хозяева, — ноги на ширине плеч, вес на правой. Левое колено он берёг и сейчас, и на морозе это было видно лучше, чем в классе: левая нога стояла чуть носком внутрь, как будто колено не до конца разгибалось.

Зуб топтался у него за правым плечом — шаг вперёд, шаг назад, — как собака, которую держат на поводке и которой не терпится.

И ещё двое. Скорлупа — лет по тринадцать, оба в одинаковых серых пальто, из которых давно выросли, в одинаковых вязаных шапках-петушках. Братья или соседи по бараку. Они стояли у дальнего конца прохода, у выхода на пустырь, и смотрели не на меня, а на Бурого: учились.

Пятый был на крыше. Валенки свешивались через край крайнего гаража, рядом с ними на жести лежала кучка шелухи. Колька пришёл раньше меня и занял лучшее место.

Я остановился в восьми шагах от Бурого.

Не ближе. Восемь шагов — это расстояние, на котором человек может разговаривать, не повышая голоса, и не может ударить, не сделав предварительно трёх шагов. Три шага — это полторы секунды. Полторы секунды — это очень много.

— Пришёл, — сказал Бурый.

Это было не удивление. Это была констатация, с которой он, похоже, не знал, что делать дальше. Он рассчитывал, что я приду, иначе бы не звал. Но он рассчитывал, что я приду не так.

Я понял, в чём дело, через секунду. Я пришёл не быстро и не медленно. Не оглядывался. Не держал руки у груди. Не смотрел в землю. И портфель держал в левой руке — не прижимая к животу, как держат щит, а просто, как держат портфель.

Я исправился. Перехватил портфель обеими руками и прижал к животу. Опустил глаза. Ссутулился ещё на два сантиметра.

Бурый расслабился. Это было видно по плечам.

— Ну, — сказал он. — Поговорим?

* * *

— Ты пойми, Авоська, — сказал Бурый.

Он говорил негромко, почти по-дружески, и это было неожиданно. Я ожидал крика, мата, толчка в грудь для начала. Он не кричал. Он объяснял — терпеливо, как старший брат, который в сотый раз объясняет младшему, почему нельзя совать пальцы в розетку.

— Тут не Вологда. Тут у всех своё место. Кто мотается — тот пацан. Кто не мотается — тот чушпан. Чушпан платит. Это не я придумал, понял? Это так всегда было. Я сам платил, когда малой был. Скорлупой. Все платили. А потом я пришился — и теперь не плачу. — Он пожал плечами. — Всё честно.

— Честно, — повторил я.

— А ты чё думал? — Он, кажется, обрадовался, что я ответил. — Думал, у нас тут джунгли? Не, у нас порядок. Платишь — тебя никто не трогает. Не только мы — вообще никто. Ни депошные, ни чайковские. Ты под Кирпичкой, понял? Тебя тронут — мы впишемся. Это как... — он поискал слово, — как страховка. Госстрах.

За его плечом Зуб хохотнул.

— Госстрах, — сказал Зуб. — Охуеть.

— Завали, — сказал Бурый, не оборачиваясь. И снова мне: — Пятнадцать копеек. За прописку. И при пацанах скажешь, что был неправ. Что в буфете вы... выпендрился. — Слово далось ему с трудом, он явно хотел сказать другое. — Всё. Больше ничего. Завтра будешь, как все. Гривенник в день — и живи себе, играй в свои шахматы.

Это было щедрое предложение. Я оценил его честно: оно было лучше, чем то, что получил позавчера мальчишка с Чайки. Бурый давал мне выход. Не потому, что он был добрый, а потому, что у него сегодня были дела поважнее новенького, и ему нужно было закрыть меня быстро и без шума. Пятнадцать копеек и пара слов при пацанах — и вопрос закрыт, лицо сохранено, Авоська учтена.

Он не был злодеем. Он был сборщиком налогов, который хорошо знает свой участок.

И у него была проблема, о которой он молчал, но которая сидела у него на лице, как синяк. Ночью кто-то нарисовал на его асфальте чужой знак. Сегодня с утра весь район показывал на гаражи пальцем. И Бурому нужно было, чтобы хоть что-нибудь сегодня прошло по правилам.

Я его понимал. Это ничего не меняло.

— Нет, — сказал я.

Бурый не сразу понял. Секунды две он смотрел на меня, и на его лице было выражение человека, который протянул руку, а её не пожали.

— Чё? — сказал он.

— Нет, — повторил я. Тихо, глядя в портфель. Голос у меня чуть дрожал — я над этим поработал. — Я не буду платить. Извините.

Последнее слово было ошибкой. Я понял это, как только его произнёс. «Извините» сказал вежливый мальчик из Вологды, которого мама учила говорить «извините». Но на улице это слово значило другое. «Пацаны не извиняются», — так говорят в Казани. Значит, кто извиняется — не пацан. А кто не пацан и при этом говорит «нет» — тот издевается.

Зуб за плечом Бурого присвистнул.

— Бурый, — сказал он. — Он над тобой, бля, глумится.

И я увидел, как у Бурого кончилось терпение.

Не сразу. Сначала потемнели скулы — кровь прилила к лицу. Потом он вынул руки из карманов. Медленно. Правая сжалась в кулак, левая осталась открытой — ладонь, а не кулак. Левой он будет хватать. Правой — бить.

Потом он шагнул ко мне.

Один шаг. Ещё семь.

Я тоже сделал шаг — назад и чуть влево. Испуганный мальчик, который пятится. Каблук моего левого ботинка нащупал под снегом край ямы у второго гаража — той самой, про которую говорила Лиля Сафина. Яма была неглубокая, сантиметров тридцать, но широкая, и снег лежал над ней ровно, как скатерть. Я встал так, чтобы яма оказалась слева от меня. Слева и чуть впереди.

Справа, в трёх метрах, — будка сторожа. Перед будкой — серая наледь размером с обеденный стол: сторож выплёскивал туда воду из ведра, наверное, каждый день. Наледь была припорошена снегом, и в сумерках её было не отличить от снега.

Сумерки. Фонарь не горел. Солнце уже ушло за кирпичный завод, и свет был плоский, серый, без теней. В таком свете плохо видно мелкие движения. Особенно мелкие движения рук.

Ветра не было.

Бурый сделал второй шаг. Третий. Он шёл не прямо на меня, а чуть правее — так, чтобы прижать к будке. Правильно. Так я бы и сам шёл, если бы был им.

Зуб пошёл в обход слева — по краю прохода, вдоль гаражей, чтобы зайти мне за спину. Тоже правильно. Я подумал ещё в субботу: ударит сзади. Он ударит сзади.

Скорлупа осталась у дальнего конца. Колька на крыше перестал лузгать семечки.

Я опустил портфель. Не бросил — опустил, держа за ручку, вдоль ноги, как держат вещь, о которой забыли.

И считал.

* * *

Потом, когда я прокручивал это в голове, — а я прокручивал это много раз, как прокручивают шахматную партию, чтобы найти неточность, — всё уместилось в четыре секунды.

Вот они.

Ноль. Бурый ставит левую ногу на наледь у будки. Он её не видит — снег. Правая рука уходит назад для удара: широкий боковой, от плеча, по уху. Таким ударом бьют не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы видели. Он хочет, чтобы видели.

Ноль и четыре. Я приседаю. Не ухожу — именно приседаю, испуганно, неуклюже, как приседает человек, который никогда не дрался. Портфель сам собой поднимается к голове. Защититься. Так сделал бы любой.

Ноль и восемь. Кулак Бурого проходит над портфелем. Задевает его краем — глухой звук, кожзаменитель, — но в цель не попадает. Вся сила удара уходит в пустоту, и тело идёт за кулаком. Вес переносится с правой ноги на левую. На ту, которая стоит на льду. На ту, у которой колено.

Одна и две. Моя правая рука — свободная, без портфеля — хватается за его рукав. Так хватается человек, который потерял равновесие и цепляется за ближайшее. Я действительно теряю равновесие — нарочно, но действительно. И когда я хватаюсь, я тяну. Не сильно. Сантиметра на два. Ровно в ту сторону, куда он уже и так падает.

Два сантиметра — это ничего. Никто никогда не увидит два сантиметра.

Одна и шесть. Левая нога Бурого едет по льду. Колено, которое не разгибается до конца, подламывается. Я слышу, как он выдыхает — коротко, удивлённо, «ых». Он ещё не понимает, что падает.

Две. Зуб у меня за спиной. Я не вижу его, но слышу: снег скрипит иначе, когда по нему бегут, а не идут. Он бежит, чтобы ударить меня в спину, пока я занят Бурым. Я говорил: ударит сзади.

Я отпускаю рукав Бурого и заваливаюсь назад. Падаю, как падают все неловкие люди: всем телом сразу, выбросив руки в стороны. Левая рука с портфелем уходит вниз. Правая взлетает вверх, локтем назад.

Две и четыре. Зуб налетает на мой локоть лицом.

Он бежал, он наклонился вперёд для удара, и его лицо оказалось ровно там, где через долю секунды оказался мой локоть. Я не бил. Я просто поставил локоть туда, где должно было быть его лицо. Разница между ударом и этим — не в силе. В том, кто на кого налетает.

Звук был мокрый и короткий. Как будто в снег уронили сырое яйцо.

Две и восемь. Бурый ударяется плечом о стенку будки сторожа. Всем весом, со всего размаха, — и будка гудит, как пустая бочка. Рыжая собака у будки взрывается лаем.

Три и две. Зуб отлетает назад и садится в снег, зажимая лицо обеими руками. Между пальцами у него темнеет.

Четыре. Я сижу в яме у второго гаража.

В той самой яме, про которую говорила Лиля. Сижу по пояс в снегу, ноги в разные стороны, портфель на коленях, шапка слетела и лежит рядом. Снег за шиворотом. Рот открыт. Вид у меня, наверное, был совершенно идиотский.

Так и задумано.

Савва сказал бы: долго. Четыре секунды — это много. Вдвое меньше, чем нужно было бы, если бы я дрался по-настоящему, и вдвое больше, чем нужно, если бы мне было всё равно, как это выглядит. Но мне было не всё равно. За полторы секунды это была бы драка. За четыре — гололёд.

* * *

Из будки выскочил сторож.

Старик, в телогрейке поверх свитера, в валенках с калошами, с керосиновым фонарём в одной руке и лопатой в другой. Седая щетина, красный нос, глаза злые и испуганные одновременно — как у человека, которого разбудили и который ещё не решил, кого он больше боится: того, кто разбудил, или того, что будет, если он ничего не сделает.

— А ну! — заорал он, размахивая фонарём. — А ну пошли отсюдова, шпана! Опять, бля, у будки! Я вам щас! Я вот Сухому скажу! Я Сухому всё скажу, как вы тут будку мне ломаете!

Не милицию. Сухого.

Я запомнил: в этом дворе даже сторож знает, на кого жаловаться, чтобы помогло.

Бурый поднимался с наледи. Медленно, по частям — сначала на правое колено, потом опираясь рукой о стенку будки. Левую ногу он держал на весу. Лицо у него было белое, с красными пятнами на скулах, и он смотрел на меня.

Я видел, как он думает. Видел, как в его голове складываются кусочки: удар, портфель, рука на рукаве, лёд. Удар не попал, потому что я присел. Я присел, потому что испугался. Он упал, потому что лёд. Я схватился за него, потому что падал. Я упал, потому что я неуклюжий. А Зуб...

— Сука! — Зуб отнял руки от лица. Нос у него распух и съехал набок, верхняя губа в крови, кровь капала на телогрейку. Голос был гнусавый, мокрый. — Сука, он меня локтем! Бурый, он меня, бля, локтем ебнул!

— Он падал, дебил, — сказал Бурый.

Сказал не сразу. Через секунду. Через ту секунду, за которую он выбрал.

— Он падал, — повторил Бурый громче, для скорлупы, которая так и стояла столбом у дальнего конца прохода. — А ты сам налетел. Как баран. Куда ты бежал, бля?

— Я...

— Завали.

Это был выбор, и Бурый сделал его сам. Было две версии. В одной чушпан из Вологды за четыре секунды уложил его и Зуба на глазах у скорлупы. В другой они все поскользнулись на сторожевой наледи — бывает, гололёд, хуйня. Первая версия была правдой, и в ней Бурый проиграл. Вторая была неправдой, и в ней Бурый не проиграл, а просто упал.

Люди почти всегда выбирают ту версию, где они не проиграли. Это не глупость. Это защита. Я на неё и рассчитывал.

Но где-то глубоко, под этим выбором, Бурый знал. Не головой — телом. Тело помнило руку на рукаве. Тело помнило два сантиметра. И поэтому он смотрел на меня не так, как смотрят на чушпана, который упал в яму. Он смотрел на меня так, как смотрят на собаку, про которую не знаешь, кусается она или нет.

— А ты чего расселся? — Сторож перевёл фонарь на меня. Свет ударил мне в лицо. — А ну вылазь! Ещё один!

Я заморгал, закрылся рукой от света и полез из ямы — неловко, загребая снег, поскользнулся ещё раз, уже по-настоящему, на краю, и встал. Отряхнул пальто. Поднял шапку. Отряхнул шапку.

Шапку я поднял сам.

— Т-тут лёд, — сказал я сторожу. Голос дрожал — тоже почти по-настоящему: от холода, снег за шиворотом таял. — Тут у вас лёд.

— Лёд у них! — Сторож замахнулся лопатой, не всерьёз, для порядка. — Ходют тут! Пошли вон все!

Бурый выпрямился, оторвался от будки, наступил на левую ногу и скривился. Колено. Теперь оно будет болеть неделю — если повезёт. Если не повезёт, то дольше.

Он посмотрел на меня ещё раз — долго, секунды три.

— Это не всё, Авоська, — сказал он тихо. — Понял? Это не всё.

— Я понял, — сказал я. Тоже тихо.

Это была правда. Это было не всё. Это было только начало, и мы оба это знали — он телом, а я головой.

Бурый развернулся и пошёл к пустырю — прихрамывая, но не опираясь ни на кого. Зуб, хлюпая кровью, побежал за ним. Скорлупа — за Зубом. Сторож ещё раз погрозил лопатой им вслед, посмотрел на меня, плюнул в снег и ушёл в будку. Собака полаяла ещё немного и замолчала.

В проходе стало тихо.

Я стоял и проверял себя. Правая рука: на костяшке среднего пальца содрана кожа — об ледяную корку на краю ямы, когда я падал. Левый локоть: ноет, будет синяк. Спина: снег за шиворотом. Шапка — на голове. Портфель — в руке. Пульс...

Я посмотрел на часы. Шестьдесят восемь. На девять больше обычного.

Это было не от холода.

* * *

Валенки на краю крыши крайнего гаража шевельнулись, и Колька спрыгнул вниз — легко, как кошка, прямо в сугроб, и выбрался из него, отряхиваясь.

Он подошёл ко мне вплотную. Задрал голову. Глаза у него были жёлтые, внимательные и совершенно не детские.

— Поскользнулся, да? — сказал он.

— Поскользнулся.

— Ага. — Колька сплюнул шелуху. — Два раза подряд. И Бурый поскользнулся. И Зуб тоже поскользнулся — прям об твой локоть. Все поскользнулись. Гололёд, бля. Эпидемия.

Я молчал.

— Я видел, как ты его за рукав дёрнул, — сказал Колька. Он показал пальцами — большим и указательным — расстояние сантиметра в два. — Вот столько. Чуть-чуть. Никто не видел. А я видел. Сверху — видно.

Он был хорош. Лучше, чем я думал в субботу.

— И что ты будешь с этим делать? — спросил я.

Колька прищурился. Он ждал другого вопроса. Он ждал, что я начну отпираться, или испугаюсь, или предложу ему денег. Он был готов торговаться. А я спрашивал, что он будет делать.

— А чё? — сказал он. — Продам.

— Кому?

— Да хоть кому. Бурому.

— Бурый только что решил, что я упал, — сказал я. — Ты слышал. При скорлупе решил. Вслух. Ты пойдёшь к нему и скажешь: нет, Бурый, ты не упал, тебя чушпан уронил, а ты при

пацанах сказал, что гололёд? — Я помолчал. — Как думаешь, что он сделает? Тебе спасибо скажет?

Колька открыл рот и закрыл.

— Зубу, — сказал он.

— Зуб скажет, что ты пиздишь. — Я сказал это слово спокойно, без нажима, и Колька моргнул: от меня он его не ждал. — Потому что Бурый уже сказал, что Зуб налетел сам. Зуб против Бурого не пойдёт. Никогда.

— Ну... пацанам. Всем.

— Шахматист из Вологды, который не умеет драться, положил Бурого и Зуба за четыре секунды. — Я посмотрел на него. — Тебе поверят?

Колька молчал.

— Тебе не поверят, — сказал я. — А в следующий раз, когда ты придёшь продавать что-нибудь настоящее, тебе тоже не поверят. Потому что ты один раз уже продавал сказку. И ты подешевеешь. Ты сам вчера сказал: тебя не трогают, потому что ты всем нужный. Ненужного — тронут.

Он смотрел на меня снизу вверх, и в его лице что-то происходило. Я видел, как он считает. Он умел считать — не так, как я, но умел. Он считал по-уличному: что выгодно, что опасно, что стоит денег, а что — дороже денег.

— А если не продам? — спросил он наконец.

— Тогда ты будешь единственным, кто знает, — сказал я. — Единственным во всём районе. Это стоит дороже двадцати копеек. Дороже рубля. Ты сам знаешь, сколько это стоит.

— Ты чё, меня покупаешь?

— Нет. Я тебе объясняю, сколько ты стоишь.

Колька долго молчал. Потом вдруг ухмыльнулся — широко, щербато, — и вытер нос рукавом.

— Ну ты и сука, шахматист, — сказал он почти с нежностью. — Ладно. Пока молчу. Посмотрю, чё дальше будет. — Он ткнул меня пальцем в грудь. — Но ты мне должен.

— Я никому не должен.

— Все так говорят, — сказал Колька Рябов. — А потом все должны.

Он сунул руки в рукава телогрейки и пошёл к коробке, насвистывая. Не «Вологду». Что-то другое, из кино. У коробки обернулся:

— Слышь! А где ты так научился? Падать?

— В шахматном кружке, — сказал я.

Колька заржал на весь двор и ушёл.

* * *

Дома я первым делом повесил пальто на батарею в ванной, чтобы высохло до прихода мамы. Вытряс снег из ботинок, поставил их на газету. Промыл костяшку под краном — вода была ледяная, кожа содрана неглубоко, полоской сантиметра в полтора. Локоть посмотрел в зеркало: под кожей уже наливалось лиловое пятно размером с пятак.

Потом я сел за коробку из-под книг и сделал уроки. Алгебру — правильно, а потом в одном примере исправил плюс на минус. Литературу — прочитал следующие три главы «Отцов и детей» и написал в тетради план ответа на четвёрку. Физику — задачи с пятой по девятую, без ошибок: по физике у меня ошибок пока никто не ждал, рано.

В пять двадцать щёлкнул замок. Мама привела Настю с продлёнки.

Настя ворвалась в комнату с альбомом и тут же показала мне Кремль. Кремль у них с Гульназ вышел красный, с синими куполами и с башней, которая падала так сильно, что пришлось нарисовать под ней подпорку.

— Это чтобы не упала, — объяснила Настя. — Гульназ сказала, что папа у неё на стройке работает, там всё подпирают.

— Правильно, — сказал я. — Всё, что криво, надо подпирать.

Мама сняла пальто, разулась, пошла в ванную мыть руки — и остановилась.

Я слышал, как она остановилась. Слышал паузу: вода не полилась.

— Максим, — сказала она из ванной. — Почему у тебя пальто мокрое?

— Я упал.

Она вышла из ванной, вытирая руки полотенцем. Посмотрела на меня. Мама смотрела на людей двумя способами: как мама и как врач. Как мама — сверху вниз, с тревогой, как будто проверяя, всё ли на месте. Как врач — сразу на руки, на движения, на то, как человек держит плечо и куда переносит вес.

Сейчас она посмотрела на меня как врач.

— Где упал?

— У гаражей. Там лёд у будки. Сторож воду выливает.

— Покажи руки.

Я показал руки. Она взяла правую, повернула к свету. Посмотрела на содранную костяшку.

— Это обо что?

— Об лёд. Там корка на краю ямы.

— А почему только костяшка? — спросила мама. — Когда падают, выставляют ладонь. Обдирают ладонь. А у тебя ладонь чистая.

Это был хороший вопрос. Третий за день, и снова от женщины. Я начинал подозревать, что мужчины в Казани вопросов вообще не задают — только бьют.

— Я портфель держал, — сказал я. — В этой руке. Упал на кулак.

Мама посмотрела на меня ещё секунду.

— Локоть, — сказала она. — Левый. Ты его бережёшь. Покажи.

Я закатал рукав. Лиловое пятно за полтора часа стало размером с юбилейный рубль.

Мама ощупала локоть пальцами — быстро, профессионально, — согнула, разогнула, нажала в двух местах.

— Не больно?

— Нет.

— Здесь?

— Немного.

— Перелома нет, — сказала она. — Ушиб. — Помолчала. — Странно ты падаешь, Максим. Назад и на локоть. Обычно так падают, когда... — Она не договорила.

— Когда что?

— Ничего. — Мама опустила мой рукав. — Когда поскальзываются на спине. Как на катке.

Она принесла из сумки йод и вату. В Вологде у неё в сумке всегда был йод и бинт — «на всякий случай», — и здесь, видимо, тоже. Обработала костяшку. Йод щипал. Я не морщился, потом вспомнил, что надо, и поморщился.

— Терпи, казак, — сказала мама. Это была папина присказка. — Атаманом будешь.

— Мам, я правда упал.

— Я знаю, — сказала она. — Я же не говорю, что не упал.

Она поцеловала меня в макушку, как вчера, — встав на цыпочки, — и пошла на кухню ставить чайник.

Я сидел над тетрадью по физике и смотрел на коричневое пятно йода на костяшке.

Я соврал ей легко. Без паузы, без запинки, глядя в глаза. Соврал так же, как врал Бурому, завучу, математичке, Кольке, — тем же голосом, теми же интонациями. Я делал это всю жизнь и делал хорошо.

Только раньше это никогда ничего не стоило.

А сейчас что-то стоило. Где-то под рёбрами, слева, было неприятное ощущение — как будто проглотил кусок слишком горячего хлеба и он застрял на полпути. Я не знал, как это называется. Я попробовал это посчитать — и не смог. У этого не было цифр.

Может быть, это и называется «совесть». Я читал про неё в книгах. В книгах она обычно приходила к героям ночью, большая, громкая, и не давала спать. Ко мне она пришла в пять сорок вечера, маленькая, с запахом йода, и села на краешек коробки из-под болгарских консервов.

Я посидел с ней немного. Потом решил задачу номер десять.

* * *

Отец вернулся в половине седьмого, и квартира сразу стала меньше — так бывает, когда в неё входит счастливый человек.

— Оля! — сказал он с порога, ещё не сняв шапку. — Оля, у них ЕС-тысяча тридцать три! Новенькая! Ты представляешь? Машинный зал — как спортзал! Кондиционеры! Мне дали два стенда и трёх девчонок-наладчиц, все с образованием! — Он разулся, прошёл на кухню, обнял маму, которая стояла с половником. — Макс! Иди сюда! Ты знаешь, что такое тридцать три?

— Машина, — сказал я, выходя в коридор.

— Машина! — Отец взмахнул руками. — Это не машина, это... это симфония! Триста тысяч операций в секунду! В Вологде мы на такое только в журналах смотрели!

Он говорил ещё долго — про перфокарты, про магнитные ленты, про начальника отдела, который оказался «мировым мужиком», хоть и татарин, и поэтому «надо будет выучить хоть пару слов». Мама слушала, улыбаясь, и помешивала суп. Настя показывала папе Кремль на подпорке. Отец объявил, что подпорка — гениальное инженерное решение и что Настя пойдёт по его стопам.

Я смотрел на них и думал, что вот это — то, ради чего стоило потратить четыре секунды на падение в яму. Не я. Они. Чтобы отец мог стоять на кухне в носках и кричать про триста тысяч операций в секунду. Чтобы мама могла помешивать суп и не думать про гаражи. Чтобы Настя могла рисовать подпорки.

Чтобы шестой этаж, двадцать четвёртая, и белобрысенькая, третий «А», оставались просто адресом, а не угрозой.

— А у тебя как? — спросил отец, повернувшись ко мне. — Как новая школа?

— Нормально, — сказал я.

— С кем-нибудь познакомился?

— С соседом по парте. Его Женя зовут. Он радиолюбитель.

— Радиолюбитель! — обрадовался отец. — Это хорошо. Это правильный парень. А он в шахматы играет?

— Играет.

— Вот! — Отец поднял палец. — Видишь, Оля, я же говорил. Всё у него будет хорошо.

Мама посмотрела на меня через его плечо. Ничего не сказала. Только посмотрела — и вернулась к супу.

* * *

В восьмом часу Галия-апа снова позвала всех на вторую серию.

— Я не пойду, — сказал я. — У меня литература. Три главы.

— Макс, там же Горбатого покажут! — не поверила Настя. — Все пойдут!

— Расскажешь.

Отец посмотрел на меня с лёгким удивлением — мол, как это, Высоцкий, — но спорить не стал. Они ушли. Хлопнула дверь, щёлкнул замок. Через стенку, глухо, донеслись голоса Галии-апы и папин смех.

Я выключил свет в маленькой комнате и встал у окна. Сбоку, так, чтобы меня не было видно снаружи.

Двор опять был пуст. Как вчера. Всё правильно: вторая серия, вся Казань у телевизоров. Горели фонари, светились голубым окна, лампочка над подвальной дверью котельной горела в своей проволочной сетке. Снег больше не шёл. Корона на гараже — перечёркнутая, замазанная извёсткой, с проступающими молоточками — была видна даже отсюда, тёмным пятном на светлой стене.

В девятнадцать сорок две по тропе вдоль теплотрассы прошли двое.

Один шёл впереди и хромал — на левую ногу, сильно, каждый шаг давался ему с усилием. Второй держался чуть сзади и прижимал к лицу что-то белое — снег в платке или вату.

Бурый и Зуб.

Не к себе домой — не в бараки, не в частный сектор. Они шли к котельной. Во время второй серии «Места встречи», когда весь город сидел у телевизоров, Бурый с больным коленом и Зуб с разбитым носом шли туда, куда, очевидно, не ходят просто так.

Они остановились у ступенек в подвал. Бурый что-то сказал Зубу. Зуб кивнул. Бурый постоял секунду — как стоят перед дверью кабинета завуча, — потом спустился по ступенькам и постучал. Дверь открылась, плеснуло жёлтым светом, и он вошёл. Зуб остался наверху, у двери, на холоде, переминаясь с ноги на ногу. Его не позвали.

Я смотрел и считал. Шестнадцать минут.

В двадцать ноль одну дверь открылась снова. Первым вышел Бурый, за ним — второй. Тот самый, что вчера на рассвете растирался снегом. Сейчас на нём была телогрейка, накинутая на плечи, без шапки. Он вышел, остановился на верхней ступеньке и что-то коротко сказал Бурому. Бурый кивнул. Зуб кивнул тоже, хотя ему никто ничего не говорил.

Потом человек из котельной поднял голову и посмотрел на наш дом.

Он не скользил взглядом, не искал. Он считал. Я видел это по тому, как медленно поднималась его голова — с этажа на этаж. Первый. Второй. Третий. Четвёртый. Пятый.

Шестой.

Он остановился на шестом этаже. На третьем окне слева. На нашем окне, где за стеклом, в темноте, сбоку, стоял я.

Он не мог меня видеть. В комнате было темно, я стоял за рамой, снаружи горели фонари, а стекло отражало их. Он не мог меня видеть.

Он смотрел на моё окно секунд пять. Потом опустил голову, сказал Бурому что-то ещё — коротко, одно-два слова — и ушёл обратно в подвал. Дверь закрылась. Лампочка над ней продолжала гореть.

Бурый и Зуб постояли ещё немного и пошли прочь, по тропе вдоль теплотрассы, в темноту.

Я стоял у окна и смотрел на закрытую дверь подвала.

Четыре секунды я делал так, чтобы никто ничего не понял. Бурый выбрал версию, в которой он поскользнулся. Колька выбрал молчать. Сторож выбрал ругаться. Все выбрали то, что им было удобно, — как я и рассчитывал.

Но был ещё один человек, который ничего не выбирал. Он просто выслушал Бурого шестнадцать минут, поднял голову и сосчитал этажи.

Дело ушло к старшим.

И старшие умели считать.

Глава 4. Карта

13–19 ноября 1979 года

Город не прячется. Это первое, что нужно понять, если хочешь его прочитать.

Люди прячутся — каждый по отдельности, каждый от кого-то своего. А город целиком не прячется никогда. Он слишком большой, в нём слишком много ртов, окон, лавочек у подъездов, очередей, автобусных остановок и бань. Он всё время говорит. Просто говорит он не словами, а расписаниями, следами на снегу, тем, кто с кем здоровается за руку, а кто — кивком, и тем, о чём молчат в газетах.

Нужно только слушать. И считать.

У меня была неделя. Я не знал этого заранее, но догадывался: Сухой посмотрел на моё окно в понедельник вечером, и кто бы он ни был, такие люди не зовут к себе на следующий день. Сначала они смотрят. Потом зовут.

Значит, пока он смотрит на меня, я буду смотреть на него. И на всё остальное.

* * *

Во вторник Бурый в школу не пришёл. Зуб пришёл.

Нос у него распух, посинел и съехал чуть влево — теперь у них с Бурым были одинаковые носы, как у братьев. Под глазами налились жёлтые с фиолетовым полукружья. Он сидел на своём месте у прохода и смотрел на меня весь первый урок, не отрываясь, с такой ненавистью, что Нина Аркадьевна дважды сделала ему замечание, а на третий раз спросила, не нужно ли ему к медсестре.

— Он упал, — громко сказал кто-то с задней парты. — Поскользнулся. Вместе с Бурым.

Класс захихикал. Зуб покраснел до ушей — синяки стали чуть ярче.

— И новенький упал, — добавил тот же голос. — В яму у гаражей. Говорят, сидел там, как Авоська в огороде.

Теперь засмеялись по-настоящему, и смеялись надо мной. Я покраснел — для этого достаточно задержать дыхание и немного напрячь шею — и уткнулся в учебник.

Версия, которую в понедельник выбрал Бурый, разошлась по школе за одно утро. Все поскользнулись, Зуб налетел сам, новенький просидел в яме. Никто не победил, все упали, смешно. Колька молчал — я проверил это по тому, как на меня смотрели: смеялись, но не боялись. Если бы Колька продал правду, на меня смотрели бы по-другому.

Лиля Сафина не смеялась. Она обернулась с первой парты, посмотрела на меня секунды две — внимательно, как на задачу, у которой не сходится ответ, — и отвернулась.

Яма у второго гаража. Она про неё знала. И теперь знала, что я в неё сел.

С Лилей нужно будет что-то решать. Но не на этой неделе.

* * *

На этой неделе за мной ходили.

Я заметил его во вторник, по дороге из школы. Один из тех двоих из скорлупы, в сером пальто, из которого он вырос, и в шапке-петушке. Он шёл метрах в пятидесяти позади, по другой стороне улицы, и делал вид, что разглядывает витрины. Витрин на нашей улице было две: «Хлеб» и «Ремонт обуви». «Ремонт обуви» он разглядывал так долго, что сапожник за стеклом начал на него коситься.

Лет четырнадцать. Хвост ему дали недавно — может быть, это было первое серьёзное поручение в его жизни, — и он старался изо всех сил. Шёл за мной до подъезда. Стоял у коробки, пока я не зажёг свет в своей комнате. Наутро ждал у гаражей, когда я повёл Настю в школу.

Я не стал от него уходить. Это было бы проще простого — две дыры в заборе у сортировки, проходной подъезд в соседнем доме, теплотрасса, на которой не остаётся следов. Но

если от хвоста уходят, значит, есть от чего уходить. А мне было нечего скрывать. Я был тихим мальчиком из Вологды, который ходит в школу, в булочную и в библиотеку.

Так я и ходил. В школу, в булочную, в библиотеку.

Лучшая маскировка — делать то, чего от тебя ждут. Просто делать это там, где тебе нужно.

* * *

Районная библиотека занимала первый этаж в соседней девятиэтажке — два зала, абонемент и читальня, запах клея и пыли, фикусы в кадках. Библиотекарша, сухонькая женщина в вязаной кофте и с карандашом в волосах, обрадовалась мне так, будто я был первым читателем за месяц. Может, и был.

Я записался, взял «Отцов и детей» — свои остались в контейнере, — и сел в читальне с подшивками газет.

«Советская Татария» за октябрь и ноябрь. «Вечерняя Казань». «Комсомолец Татарии». Я пролистал их все — быстро, по диагонали, страницу за страницей, — и нашёл то, что искал.

Ничего.

Ни одной заметки о драках. Ни одной — о подростковых группировках. Ни слова о Теплоконтроле, о том, что «их сейчас будут судить», о Тяп-ляпе, о котором, по словам Наиля, знал весь город. Были надои, были плавки, был новый корпус на «Оргсинтезе». Были рейды комсомольского прожектора по магазинам, где обвешивают покупателей. Была рубрика «Из зала суда»: растрата на овощебазе, хулиганство в нетрезвом виде у ресторана, кража мотоцикла.

Мотоцикл украли двое взрослых мужчин. Подростков в «Зале суда» не было ни одного.

Город, в котором у школы в понедельник утром стоит участковый, в котором на крыльце гастронома не курят, потому что нельзя, а в лифтах выцарапаны короны, — этот город в газетах был чистым, как вымытое стекло.

Это тоже информация. Если о чём-то молчат так старательно и так единодушно, значит, оно очень большое. Маленькое можно и напечатать — для острастки, в «Зале суда». Большое не печатают никогда.

Я сдал подшивки и попросил у библиотекарши справочник по истории Казани. Там я нашёл башню Сююмбике и её метр девяносто восемь.

Хоть где-то в этом городе цифры были честными.

* * *

Во вторник вечером к нам пришла Галия-апа — вернуть мамину кастрюлю и забрать свою сковородку — и осталась на чай. Галия-апа всегда оставалась на чай. Я думаю, она приходила к людям не за сковородками, а за чаем, а сковородки служили ей пропуском.

Я сидел в маленькой комнате с открытой дверью и делал вид, что читаю «Отцов и детей». Кухня была в двух шагах. Стенки в нашем доме были тоньше, чем все думали.

За час Галия-апа рассказала маме про весь подъезд, полдвора и треть частного сектора. Кто где работает, кто пьёт, кто от кого ушёл, у кого сын в армии, у кого — в тюрьме. Мама слушала, подливала чай и иногда говорила «ох» или «надо же». Галия-апа не нуждалась в вопросах. Ей нужен был только слушатель, который не перебивает.

Я слушал её внимательнее, чем мама.

— ...Хайруллины — это в бараке, на Заводской. Отец пьёт, ох, пьёт, кызым. Мать на двух работах: днём уборщица на кирпичном, ночью — посуду в столовой моет. Трое мальчишек. Старший, Рамиль, — второгодник, с этими ходит... ну, с пацанами. А младшие — пока маленькие, бог даст, не пойдут. Хотя куда они денутся...

Рамиль Хайруллин. Бурый. Отец пьёт, мать работает в две смены. Старший из трёх.

— ...Гимадиевы — это частный дом, зелёные ворота, у колонки. Фания-апа в ЖЭКе работает, хорошая женщина. Мужа нет, помер. Два сына. Старший, Ильдар, из армии весной пришёл. Из Германии! Электриком на кирпичном работает. Ай, хороший мальчик был, в школе

хорошо учился, в секцию ходил — бокс, что ли. А теперь его все... Сухим зовут. — Она понизила голос. — Его тут слушаются, кызым. Больше, чем участкового. Младший у него, Азат, весной в армию пойдёт. Фания плачет: старший вернулся — младшего забирают.

Ильдар Гимадиев. Сухой. Двадцать лет, армия в Германии, электрик, бокс. Мать в ЖЭКе. Младший брат весной уходит в армию.

Человек, который в шесть утра растирается снегом у подвала котельной, имел мать, которая плачет, и брата, которого заберут весной. Это было важнее, чем бокс.

— ...А Ломакины — это в нашем доме, во втором подъезде. Валерка Ломакин, весёлый такой, на гармошке играет, на всех свадьбах. Девятнадцать лет, а всё не женится. С Ильдаром дружит, с детства. Мать его говорит: Валерка у меня золотой, только в карты играет...

Валера Ломакин. Девятнадцать лет. Друг детства Сухого. Весёлый. Играет в карты.

Я отложил это на отдельную полку. Карты стоят денег. Деньги кончаются. Когда у человека кончаются деньги, а в карты он играть не перестаёт, — деньги приходится где-то брать.

— А депошные? — спросила мама.

Это был её первый вопрос за весь вечер. Я перестал делать вид, что читаю.

Галия-апа помолчала. Я слышал, как она поставила чашку на блюдце — осторожно, без звона.

— Депошные — это за мостом, кызым, — сказала она тише. — Туда не ходи. И сына не пускай. Там... там по-другому. Там старший у них — Витька Шатунов. Шатун. Три года сидел, на малолетке, в колонии. Вернулся — и всех под себя подмял. Его даже взрослые мужики боятся. — Она помолчала. — Его не сажают.

— Почему?

— А кто его знает, кызым. Не сажают, и всё. Наших сажают, — Галия-апа загнула палец, — Ахмеровых сына в прошлом году, за драку. Конева Петьку — тоже. Ещё двоих — за то, что ларёк на Заводской... ну, неважно. С Чайки двоих, за джинсы, за спекуляцию. А депошных — ни одного. Ни одного, кызым! А у них в вагонах на сортировке каждую неделю чего-нибудь пропадает. То шины, то сахар, то водка ящиками. — Она покачала головой. — Говорят, это потому, что у них отцы на железной дороге работают. Железная дорога — это, кызым, государство в государстве. У них своя милиция, своя прокуратура, свой суд. Своих не сдают.

Мама сказала: «надо же». Галия-апа сказала: «вот так». И заговорила о Ломакиных, о том, что Валеркина мать хочет его женить на дочке завмага.

А я сидел над «Отцами и детьми» и думал о том, что объяснение Галии-апы было хорошим. Простым, понятным, правдоподобным — какими и бывают народные объяснения.

И неправильным.

* * *

В среду после третьего урока всех старшеклассников согнали в актовый зал.

На сцене, за столом, покрытым красной скатертью, сидели Роза Габдулхаковна и женщина в милицейской форме — лейтенант, лет тридцати пяти, полная, с усталым добрым лицом и папкой, из которой торчали листы. Над ними висел транспарант «Учиться, учиться и учиться!», а сбоку — стенгазета «За здоровый образ жизни» с нарисованным спортсменом, который был похож на всех спортсменов со всех стенгазет Союза.

— Ребята, — сказала Роза Габдулхаковна. — К нам пришла Галина Петровна Сорокина, инспектор по делам несовершеннолетних нашего районного отдела милиции. Она проведёт с вами профилактическую беседу. Прошу слушать внимательно. Хайруллин, это тебя тоже касается, хоть тебя и нет.

Зал хохотнул. Бурого действительно не было — второй день.

Галина Петровна говорила сорок минут. Она говорила о том, что в нашем районе, как и во всём городе, нет и не может быть никаких организованных преступных групп. Что есть отдельные хулиганские проявления со стороны отдельных несознательных подростков, кото-

рые попали под дурное влияние. Что милиция и общественность ведут с этими проявлениями решительную борьбу. Что комсомольский оперативный отряд при райкоме ждёт сознательных ребят в свои ряды. Что за последний месяц в районе зарегистрировано столько-то случаев мелкого хулиганства и столько-то краж личного имущества граждан, по большинству из которых виновные установлены.

— Кроме того, — она перевернула лист, — участились случаи хищения грузов с подвижного состава на станции. В этих случаях виновные пока не установлены, ведётся работа совместно с линейным отделом транспортной милиции.

Она читала с листа. Цифры у неё были на листе, слова тоже. Глаза — нет. Глаза у неё были свои, и смотрела она ими не на зал, а куда-то поверх голов, на заднюю стену, где висел портрет Брежнева. Так смотрят люди, которые знают, что говорят неправду, и знают, что все в зале это знают, и ничего не могут с этим поделать.

Мне её было жаль. Это странно, но мне было её жаль. Она не была плохим человеком. Она была человеком, которому дали папку и велели её прочитать.

В третьем ряду от сцены сидели пятеро старшеклассников с Кирпички. Они слушали про то, что организованных групп не существует, с выражением вежливого интереса на лицах. Один из них, когда Галина Петровна сказала про «решительную борьбу», наклонился к соседу и что-то шепнул, и сосед затрясся от беззвучного смеха.

Официально в районе не было ничего. Неофициально в районе было всё. И ровно посередине между этими двумя районами, за столом с красной скатертью, сидела полная усталая женщина в форме и читала с листа.

Я отметил одно: «кражи с подвижного состава — виновные не установлены». Это было про Депо. Это было единственное место во всей её речи, где у неё на листе не нашлось ни одной цифры.

* * *

Над объяснением Галии-апы я думал всю среду.

«Железная дорога — государство в государстве. У них своя милиция». Это было правдой — наполовину. Кражи из вагонов ведёт транспортная милиция, и если там у депошных свои люди, то вагонов никто не раскроет. Это можно понять.

Но депошные занимались не только вагонами.

Колька говорил: Кирпичка побьёт и отпустит, а депошные не отпускают. Значит, депошные бьют не только у себя. Они бьют на мосту, у гаражей, на Чайке — на земле, которая относится не к железной дороге, а к нашему районному отделу. К тому самому, где работает Галина Петровна со своей папкой. А там у Депо своих людей быть не должно. Там Депо должны сажать так же, как сажают Ахмеровых, Коневых и чайковских за джинсы.

Их не сажали.

Железная дорога объясняла вагоны. Но она не объясняла мост.

* * *

В среду вечером мама ушла на первое дежурство.

Она собиралась долго — дольше, чем нужно. Проверила сумку: белый халат, шапочка, тапочки, бутерброды в газете, термос с чаем. Проверила ещё раз. Поцеловала Настю, отца, меня. Сказала отцу, где лежит суп и что Насте надо проверить уроки. Остановилась в дверях.

— Андрюша, ты их после восьми никуда не пускай.

— Оля, они спать будут после восьми.

— Всё равно не пускай.

Дверь закрылась. Отец постоял в прихожей, посмотрел на дверь, потом на меня.

— Волнуется, — сказал он. — Первая смена на новом месте. Я тоже волновался.

— Да, — сказал я.

Она волновалась не из-за смены. Она волновалась из-за того, что рассказала ей вчера Галия-апа про Рустема, про мост, про Шатуна, который три года сидел. Отец это тоже знал. Просто ему было легче говорить, что из-за смены.

Ночью я спал плохо. Не из-за угольного дыма. Просто не мог заснуть, пока не услышал, как в два часа ночи по улице проехала «скорая» — с сиреной, но без мигалки, — в сторону больницы. Потом ещё одна, в три.

* * *

В четверг утром хвоста не было.

Я вышел с Настей в половине восьмого — у гаражей никого. На остановке — никого. У школы — никого. Серое пальто с шапкой-петушком пропало, как будто его и не было.

Хвост не снимают просто так через два дня. Хвост снимают, если он больше не нужен. Или если он не может ходить.

Мама вернулась в девятом часу, когда я уже был в школе. Вечером, за ужином, она почти ничего не ела. Отец рассказывал про завод — про то, что у них в машинном зале сломался кондиционер и пришлось открывать окна, а на улице минус пять, и все наладчицы сидели в пальто, и ЕС-тысяча тридцать три работала прекрасно, ей холодно не бывает. Мама слушала и кивала, но не улыбалась.

— Оль, — сказал наконец отец. — Ты чего? Тяжело было?

— Нормально, — сказала мама. — Обычная смена. Три перелома, два вывиха, одно ножевое, пьяный, в руку, ерунда. Бабушка с шейкой бедра.

Она помолчала, глядя в тарелку. Настя уже спала. Я сидел тихо — так, чтобы меня можно было не замечать.

— И мальчик, — сказала мама. — Тринадцать лет. Привезли в два ночи. Три ребра сломаны, сотрясение, рваная рана на голове — вот здесь, над ухом. Края ровные, круглые. Ударили чем-то металлическим. Тяжёлым, круглым. — Она коснулась пальцами своей головы над правым ухом. — Милиционер, который потом пришёл, сказал: шары. Это у них... это шарик от подшипника на верёвке. Или на цепи. Ими дерутся.

— Господи, — сказал отец.

— Мальчик говорит: упал с моста. Со ступенек, на пешеходном мосту, на сортировке. Поскользнулся и упал. — Мама подняла глаза на отца. — Андрей, у него на спине — следы от ботинок. Я сама видела. Отпечатки подошвы. Рубчатые. Три разных размера.

Отец ничего не сказал.

— Его брат сидел в коридоре до утра, — продолжала мама. — Тоже маленький, лет четырнадцать. В сером пальто, из которого вырос, рукава вот досюда. Сидел и не плакал. Я ему чаю дала из термоса. Он сказал «спасибо» — и больше ничего. Ни слова. Я спрашиваю: кто его? А он смотрит на меня, как будто я спросила, как зовут Брежнева.

Серое пальто. Рукава вот досюда.

Вот куда делся мой хвост.

— А милиционер? — спросил отец. — Он что?

— Пришёл утром, в семь. Капитан, в штатском. Вежливый такой, спокойный, с залысинами. Фамилия... Ахметов, кажется. Посидел у мальчика минут пять. Спросил только одно: «Кто?» Мальчик сказал: «Не знаю. Упал». А капитан кивнул и сказал: «Правильно». И ушёл. Записал «упал с моста» и ушёл.

— «Правильно»? — переспросил отец. — Он так и сказал — «правильно»?

— Так и сказал.

Отец положил вилку.

— Оля, это же... Это же черт знает что. Мальчику ребра сломали, а милиция...

— Андрюша, я двенадцать лет в травматологии, — тихо сказала мама. — В Вологде тоже записывали «упал». Только в Вологде так говорили мужики после получки. А здесь — дети.

Она встала, собрала тарелки и пошла к раковине. Отец сидел и смотрел ей в спину. Я сидел и смотрел в свою тарелку.

Капитан Ахметов. В штатском, с залысинами, вежливый, спокойный. Пять минут у постели тринадцатилетнего мальчика со сломанными рёбрами — и одно слово: «Правильно».

Правильно — что? Правильно, что ты не знаешь? Или правильно, что ты молчишь?

Это были два разных «правильно». В первом случае капитан Ахметов был плохим милиционером. Во втором — он был кем-то другим.

Я ещё не знал, кем. Но я запомнил фамилию.

* * *

В пятницу был сбор.

Я понял это ещё днём, в школе. Пятница отличалась от других дней тем, как вела себя Кирпичка. Её люди в девятых и десятых классах были тише обычного и почти не трогали чушпанов. Зуб на большой перемене обошёл столики в буфете вдвое быстрее и взял вдвое больше — по двадцать копеек вместо десяти, «за неделю». На последнем уроке двое с задних парт то и дело смотрели на часы.

После шести вечера я выключил свет в маленькой комнате, сказал отцу, что голова болит и я полежу, и встал у окна.

В девятнадцать ноль пять к котельной пришли первые.

Скорлупа. Человек восемь, лет по одиннадцать — тринадцать, группкой, плотно, как воробьи на проводе. Они не спустились в подвал. Они встали у ступенек, в стороне, и ждали.

В девятнадцать двенадцать пришли супера. Эти шли по двое и по трое, не торопясь, руки в карманах. Я насчитал четырнадцать. Среди них — Бурый, прихрамывающий, и Зуб, с белой нашлёпкой пластыря на носу. Супера тоже не спускались сразу — останавливались наверху, здоровались со скорлупой за руку. Каждый — с каждым. Это заняло минут пять. Рукопожатия были короткие, но обязательные: ни одного не пропустили.

В девятнадцать двадцать дверь подвала открылась, и на верхнюю ступеньку вышел человек.

Не Сухой. Другой — пониже, покрепче, в расстёгнутой телогрейке, с непокрытой кудрявой головой. Он улыбался. Это было видно даже с шестого этажа: он улыбался всем сразу, хлопал по плечам, кому-то из скорлупы взъерошил волосы. Через плечо у него висела брезентовая сумка — защитного цвета, с клапаном. Сумка от противогаза.

Валера Ломакин. Весёлый, на гармошке играет. Друг Сухого с детства. Играет в карты.

Он спустился на две ступеньки и встал у двери. И скорлупа, а за ней супера, пошли мимо него вниз. По одному. И каждый, проходя мимо, что-то совал в открытую сумку от противогаза.

Я считал.

Восемь из скорлупы. Четырнадцать суперов. Потом, в девятнадцать тридцать пять, подошли ещё семеро — постарше, лет по семнадцать — девятнадцать, эти шли не со стороны бараков, а со стороны остановки, некоторые — в нормальных пальто и шапках, как взрослые. Они тоже прошли мимо сумки, но клали в неё больше — я видел, как один достал из кармана бумажку, сложенную пополам.

Двадцать девять человек. Плюс Лом у двери. Плюс Сухой внизу. Плюс те, кто пришёл раньше меня или не пришёл совсем — заболел, работает, сидит. Плюс мальчик в больнице с тремя сломанными рёбрами. Около сорока.

Если скорлупа сдаёт по рублю в неделю — а она сдаёт столько, сколько сняла с чушпанов, — то восемь рублей. Если супера по два — двадцать восемь. Если старшие по пять, по червонцу — ещё пятьдесят, может, семьдесят. Плюс ларьки, плюс цветмет, плюс что-то, чего я пока не знал. Сто рублей в неделю. Может быть, больше. Четыреста в месяц.

Отец получал на новом месте двести двадцать — и считал, что ему повезло.

В подвале они пробыли час. Потом дверь открылась, и все вышли — в обратном порядке, сначала старшие, потом супера, потом скорлупа. Разошлись быстро и тихо, в разные стороны, по двое, по трое. Через пять минут у котельной не осталось никого.

Последним вышел Лом. С сумкой от противогаза на плече. Он запер дверь подвала на висячий замок, подёргал его и пошёл — не к себе, во второй подъезд, а в обратную сторону, к частному сектору. К зелёным воротам у колонки.

К Сухому.

Сумка висела у него на плече так, как висит тяжёлая сумка: перекашивая плечо.

* * *

В субботу, в половине десятого утра, когда в гастрономе меньше всего народу, я пошёл за хлебом.

Лом стоял на остановке.

Он был в хорошем пальто — драповом, с каракулевым воротником, почти как у толстого на вокзале, — в ондатровой шапке и с той же сумкой от противогаза через плечо. Не на сбор — в город. Он насвистывал, переминаясь с ноги на ногу, и улыбался девушке, которая тоже ждала автобус. Девушка улыбалась в ответ.

Подошёл шестой автобус — тот, что ходит через Чайку в центр. Лом вскочил на подножку, обернулся, подмигнул девушке и уехал.

Девушка осталась. Ей нужен был другой автобус.

Я купил батон, половинку чёрного и молоко. Кассирша Зойка пересчитала мне сдачу дважды, прежде чем отдать, — и посмотрела на меня с ненавистью.

Деньги, которые Кирпичка собрала в пятницу, в субботу утром уехали из Кирпички шестым автобусом, в сумке от противогаза, на плече у человека, который любит карты. Куда — я пока не знал. Но для общака, который просто лежит в сундуке у старшего, не нужен шестой автобус.

* * *

В субботу днём отец сказал:

— Макс, пошли в баню.

Ванная у нас была. Горячая вода тоже была — как в Ташкенте. Но отец считал, что мыться в ванной — это не мыться, а «купать себя, как младенца», и что настоящий мужчина ходит в баню раз в неделю, по субботам, с веником.

— В Вологде мы с дедом каждую субботу ходили, — сказал он. — И с тобой. Пора и тут традицию заводить.

— Где тут баня?

— Ближайшая — за мостом, — сказал отец. — Баня железнодорожников. Мне на работе сказали: пар там — лучший в районе. Пятнадцать минут пешком.

За мостом. В Депо.

Колька говорил: туда не ходи. Галия-апа говорила маме: туда не ходи. Мама сказала отцу: после восьми никуда не пускай.

Было два часа дня. Со мной был отец. И баня — это единственное место на свете, где люди ходят без одежды. А значит, и без половины своих масок.

— Пошли, — сказал я.

Через пешеходный мост я переходил впервые. Ступени обледенели, перила были ледяными даже сквозь варежки. Внизу, под нами, лежали пути — двадцать два, я сосчитал, — и между ними маневровый тепловоз толкал цистерны, и сцепщик в оранжевом жилете бежал вдоль состава. Отец остановился посередине моста, посмотрел вниз и сказал: «Красота!» — как говорил про любую сложную технику. Я посмотрел на ступеньки на той стороне.

На предпоследней ступеньке, у самого края, под свежим снегом проступало бурое пятно. Размером с ладонь. Кто-то пытался засыпать его снегом, но засыпал плохо.

Здесь, на этих ступеньках, в среду ночью избили Мишку Трофимова. А его брат сидел потом в больничном коридоре, в сером пальто.

Я прошёл мимо пятна, не останавливаясь. Отец его не заметил.

Посёлок за мостом был другим. Двухэтажные дома, оштукатуренные, жёлтые и розовые, с облупленными карнизами. Палисадники. Водонапорная башня из красного кирпича. Клуб железнодорожников — с колоннами, с облезлым гипсовым паровозом на фронтоне и с табличкой у бокового входа: «Бильярдная. Вход с 18 лет». И везде, на каждом углу, — люди в форменных шинелях и фуражках с молоточками, взрослые мужчины, которые шли со смены или на смену.

И пацаны. Они стояли у клуба, у бани, у магазина — по трое, по четверо, в телогрейках, но не таких, как у Кирпички: у многих поверх телогреек были форменные железнодорожные бушлаты, явно отцовские, с медными пуговицами. Молоточки на пуговицах. Как у тёти Зины.

Нас проводили взглядами. Меня — внимательно. Отца — равнодушно. Взрослый мужик с веником под мышкой их не интересовал. Пацан рядом с ним — интересовал, но не настолько, чтобы подходить при отце.

Я опустил голову, ссутулился и шёл, глядя в снег. Сын, которого отец тащит в баню.

* * *

Баня железнодорожников была старая, дореволюционная, из красного кирпича, с полукруглыми окнами, запотевшими изнутри. Билет — пятнадцать копеек, для детей — восемь. Отец заплатил за двоих, гордо, как будто покупал билеты в Большой театр.

В раздевалке пахло берёзовым листом, мокрым деревом, хозяйственным мылом и пивом. Деревянные скамьи с высокими спинками, как в церкви. Номерки на верёвочках. Старик-банщик в белом халате, похожий на ветеринара.

Я раздевался медленно.

Это был риск, и я его посчитал заранее. Под школьным пиджаком мышц не видно. В бане видно всё. Худой — да. Но худой не так, как худеют от недоедания или от книжек. У меня жилистые плечи, на спине мышцы, которые бывают у пловцов и гимнастов, и костяшки на руках, о которых я уже говорил. Человек, который умеет смотреть, увидит.

Поэтому я ссутулился. Обмотался полотенцем до подмышек, как мёрзнущий ребёнок. Держал руки у груди, кулаки в полотенце. И держался за спиной у отца.

Отец ничего не замечал. Отец в бане был счастлив, как ребёнок. Он с порога заявил банщику, что приехал из Вологды и что в Вологде пару не держат, а держат его только «у вас, на Волге», и банщик расцвёл и сказал, что сегодня пар «как надо», потому что топил сам.

В парилке, на верхней полке, у стены, сидел Шатун.

Я понял, что это он, раньше, чем увидел его лицо.

Я понял это по тому, как сидели остальные. На верхней полке, где жарче всего и где в бане сидят хозяева, было место человек на восемь. Сидели шестеро. Пятеро — плотно, плечом к плечу, на одном конце. А на другом конце, у стены, — один. Вокруг него оставалось пустое место, на полметра в каждую сторону. Никто не садился рядом. Никто не задевал его локтем. Когда молодой парень с веником полез наверх, он замешкался, посмотрел на этого человека и сел ниже, на среднюю полку.

Так садятся не вокруг сильного. Так садятся вокруг опасного.

Ему было двадцать три — двадцать четыре. Худой, почти как я, но худоба у него была другая: не жилистая, а сухая, впалая, как у человека, который долго недоедал, а потом отъелся, но тело запомнило. Короткая стрижка. На груди и на плечах — ни одной наколки. А на пальцах обеих рук — синие перстни, по одному на трёх пальцах, и ещё точки на костяшках. Этот язык я не знал. Но я знал, что это язык, и что на нём разговаривают в местах, откуда возвращаются через три года.

Он сидел, прислонившись спиной к стене, лицом к двери парилки. Так, чтобы видеть каждого, кто входит.

Так же, как сел бы я.

Лицо — узкое, бледное, несмотря на жар, с тонкими губами. Глаза — светло-серые, почти белые, спокойные. Он не разговаривал. Он слушал, что говорят пятеро на другом конце полки, и время от времени кивал. Один раз — когда один из пятерых сказал что-то, чего я не расслышал, — едва заметно качнул головой: нет. И тот сразу замолчал.

Отец полез на верхнюю полку. Сел на свободное место — рядом с пятерыми, на краю, — и потянул меня за руку. Я сел рядом, поджав ноги, кутаясь в полотенце, как будто мне холодно в парилке. Отец сказал: «Ух-х-х!» — громко, от всей души, как говорят в бане все вологодские мужики. Пятеро покосились на него с усмешкой. Шатун не посмотрел.

— ...Сухой молчит, — сказал один из пятерых, вполголоса, продолжая разговор. — Неделя уже. Корону ему испортили, пацана его на мосту... — он покосился на отца и не договорил. — А он молчит. Может, ссыт?

— Не суетись, — сказал Шатун.

Голос был тихий, сиплый, будто сорванный. Он сказал это не тому, кто спрашивал, а куда-то в пар перед собой.

— Да я не суечусь, я так...

— Пусть они суетятся, — сказал Шатун.

И больше ничего. Пятеро замолчали.

«Пусть они суетятся». Это не было «ответит» или «никуда не денется». Это не было похоже на человека, который ждёт драки. Это было похоже на человека, который ждёт, когда драку начнут другие.

Потом Шатун повернул голову и посмотрел на меня.

Я сидел, сгорбившись, в полотенце, с красным от жара лицом, рядом с отцом, который хлестал себя веником по спине и кряхтел от удовольствия. Я смотрел в пол. Но я видел его краем глаза, и я видел, как его взгляд прошёл по мне — по плечам, по полотенцу, по рукам, которые я держал у груди, — и остановился. На полсекунды. На руках.

Потом он отвернулся.

Я не знаю, что он увидел. Может быть, ничего. Может быть, мальчика, которого папа привёл в баню. Но он был вторым человеком в Казани — после Сухого у котельной, — который смотрел на меня на полсекунды дольше, чем нужно.

И он был первым, на которого мне не захотелось смотреть в ответ.

* * *

После бани отец купил пива.

Ларёк стоял у остановки, на нашей стороне моста — жёлтая будка с окошком, бочка на колёсах, очередь из мужиков с бидонами и трёхлитровыми банками. Отец пристроился в конец с банкой, которую одолжил у Галии-апы, — красный, распаренный, довольный, с веником под мышкой.

Мужики в очереди разговаривали так, как разговаривают в очередях у пивных ларьков: громко, о главном и обо всём сразу. О том, что «Рубин» опять продул. О том, что на кирпичном не дали премию. О Жеглове — что Высоцкий мужик, а Жеглов — мент. О Брежневе — тихо и с оглядкой. О Сухом — ещё тише.

— ...а этот, с мостом, слыхал? Трофимовых пацан.

— Слыхал. Упал, говорят.

— Ага, упал. Трижды упал, на рёбра.

— Ну, Фарид Закирыч разберётся.

— Разберётся он, — сказал пожилой мужик в железнодорожной шинели, стоявший передо мной. Он был сильно навеселе — видно, пиво было не первое. — Фарид Закирыч на Депо глаза закрывает. На нашенских — по полной, а на депошных — глаза. Все знают...

— Митрич, — сказал кто-то негромко. — Завали.

Митрич завалил. Обернулся, посмотрел на меня, на отца с веником и банкой, хмыкнул и отвернулся к окошку.

Отец купил три литра «Жигулёвского» и полкило солёной кильки в кульке из газеты. Мы пошли домой, и отец всю дорогу рассказывал, как они с дедом в Вологде ходили в баню и как дед однажды пересидел в парилке и его выносили на снег.

Я слушал и кивал. И думал о том, что за одну неделю я услышал фамилию Ахметова трижды. Один раз от мамы, один раз от пьяного Митрича, и один раз — в тишине, которая наступила после слов Галины Петровны про «виновные пока не установлены».

* * *

В воскресенье я повёл Настю в кино.

Детский сеанс в «Чайке» — в одиннадцать утра, десять копеек, сборник мультфильмов. Настя хотела «Ну, погоди!», и «Ну, погоди!» там был — восьмой выпуск, про то, как Волк гонится за Зайцем по телестудии. Настя смеялась так, что на неё оборачивались.

А я смотрел на фойе.

«Чайка» была не просто кинотеатром. Это было видно, как только входишь. Внизу, у касс и у буфета с лимонадом «Буратино», толклись дети с мамами. Наверху, на втором этаже, где были туалеты и курилка у окна, толклись совсем другие люди. Парни лет по шестнадцать — двадцать, в куртках, которые в магазине не купишь, — болоньевых, с меховыми капюшонами, — и в джинсах. Не в «техасах» за девять рублей, а в настоящих, синих, потёртых на коленях, с медными заклёпками. В мужском туалете, куда я сходил в перерыве между мультфильмами, у подоконника стоял парень с плоским портфелем, и двое школьников рассматривали что-то, что он из этого портфеля доставал. Пластинку. Конверт был яркий, глянцевый, с иностранными буквами.

Фарца. Кирпичка собирала гривенники у чушпанов. Чайка торговала тем, чего нет в магазинах.

На лестнице между этажами, в полумраке, стоял человек, к которому подходили.

Он не был самым высоким и не был самым здоровым. Лет восемнадцать, может, девятнадцать. Дублёнка — настоящая, светлая, с вышивкой, такая стоит столько, сколько мой отец получает за три месяца. Джинсы. Длинный мохеровый шарф, намотанный небрежно, будто ему всё равно. Аккуратная стрижка, а не под машинку. Очки в тонкой металлической оправе. Он стоял, прислонившись к перилам, и с ним здоровались — но не так, как здоровались у котельной со старшими, коротко и обязательно. С ним здоровались, как здороваются с начальником: подходили сами, говорили два слова и отходили. Он кивал, иногда улыбался, иногда что-то говорил одному из подходивших на ухо.

Рядом с ним, на ступеньку ниже, стоял второй — широкоплечий, со сломанными ушами и с лицом, которое было бы красивым, если бы не нос боксёра. Тёмные брови вразлёт. Я узнал эти брови раньше, чем понял, откуда я их знаю.

Лиля Сафина. У неё были такие же.

Марсель. Боксёр. Его даже Бурый не трогает.

Значит, человек в дублёнке — тот, кому Марсель стоит на ступеньку ниже.

— Белозёров.

Я обернулся. Лиля стояла у буфета, держа за руку маленького мальчика лет шести в цигейковой шубке — тот тянул её к лимонаду. На ней было зелёное пальто с капюшоном, и без школьной формы она выглядела старше.

— Ты везде, — сказала она.

— Я с сестрой.

— Я с племянником. — Она посмотрела туда, куда только что смотрел я. На лестницу. На брата. На человека в дублёнке. Потом снова на меня. — Мультфильмы внизу, Белозёров.

— Я в туалет ходил.

— Через второй этаж, — сказала Лиля. — Хотя внизу тоже есть.

Это был четвёртый вопрос, на который у меня не было хорошего ответа. Я начал вести счёт.

— Его зовут Артур, — сказала Лиля тихо, не глядя на лестницу. — Лаптев. Студент. Учится в КАИ, на первом курсе. Это ты тоже хотел спросить, да?

— Нет.

— Хотел, — сказала Лиля. — Совет хочешь? Бесплатный?

— Ты мне их всю неделю даёшь.

— Тебе всю неделю они нужны. — Она подняла племянника на руки. — Не смотри на него так. Он замечает, когда на него смотрят. Как ты.

И ушла с племянником к лимонаду.

* * *

В конце сеанса, в фойе, ко мне подошёл Колька.

Я не видел, как он вошёл, — он умел появляться, как кошка, из ниоткуда. В руке у него был кулёк семечек, на голове — солдатская ушанка, и он щурился на меня с таким видом, будто мы расстались пять минут назад.

— Шахматист, — сказал он. — В Депо ходил. В баню. С батей.

— Ходил.

— Шатуна видел.

Это был не вопрос.

— Видел.

— И чё?

— Ничего. Он сидел у стены.

Колька хмыкнул и поплевал шелухой в ладонь — в кинотеатре на пол не плевали даже пацаны.

— А чё Сухой не отвечает, знаешь? — спросил он вдруг.

— Нет.

— Вот, — сказал Колька с удовлетворением, как учитель, поймавший ученика на незнании. — А я знаю. Это вопрос на рубль. — Он подождал. Я молчал. Он не выдержал, как не выдерживал никогда. — Весной Кирпичка за мост собиралась. Ну, разобраться — депошные кого-то из наших на мосту отоварили. Тогда ещё Сухой из армии не пришёл, Лом за старшего был. Собрались в качалке, в пятницу вечером. А в восемь вечера, ровно в восемь — менты. Три машины. Всех, кто в подвале был, — в отдел. Двоих потом посадили. — Он посмотрел на меня. — Менты в ту пятницу знали. А откуда знали? Никто не знает. Вот Сухой и думает.

— А ты что думаешь?

— А я думаю, что это вопрос не на рубль, шахматист. — Колька подмигнул. — Это вопрос на голову.

Он сунул мне в ладонь горсть семечек — просто так, бесплатно, — и ушёл. Настя потянула меня за рукав: пора домой, мама ждёт к обеду.

* * *

Ночью с воскресенья на понедельник я разложил всё по полочкам.

Я ничего не записываю. Записанное можно найти, прочитать, отнять. Я держу всё в голове, как держат в голове шахматную позицию, когда играют вслепую: каждая фигура — на своей клетке, каждая клетка — под чьим-то боем.

Неделя.

Три конторы.

Кирпичка. Около сорока человек. Старший — Ильдар Гимадиев, Сухой, двадцать лет. Армия, Германия, бокс, электрик на кирпичном. Тренируется на рассвете. Не пьёт, не курит и не даёт курить своим. Мать в ЖЭКе, младший брат весной уходит в армию. Правая рука — Валера Ломакин, Лом, девятнадцать лет, друг детства, весёлый, играет в карты. Он собирает общак по пятницам в сумку от противогаза — около ста рублей в неделю, может, больше, — и в субботу утром увозит его из района шестым автобусом. Ниже — супера, человек пятнадцать, среди них Бурый. Ещё ниже — скорлупа, человек восемь. Деньги — налог с чушпанов в школах, дань с ларьков, остальное я пока не знаю. Правила: не курить, при встрече со своими — рукопожатие каждому, чушпанов бить, но не калечить. Правила кто-то держит. Это Сухой.

Депо. Человек шестьдесят, может, больше. Старший — Виктор Шатунов, Шатун, двадцать три — двадцать четыре, три года колонии. Вокруг него в парилке пустое место. Деньги — вагоны на сортировке: шины, сахар, водка. Плюс то, что они делают на мосту. На них работает железная дорога — так думает Галия-апа. Их не сажают.

Чайка. Человек тридцать. Старший — Артур Лаптев, Студент, восемнадцать — девятнадцать, первый курс КАИ, дублёнка. Рядом — Марсель Сафин, боксёр, брат Лили. Деньги — фарца: пластинки, джинсы, куртки. Сидят во втором этаже кинотеатра «Чайка». С Чайки двоих посадили за спекуляцию.

И милиция.

Капитан Ахметов, угрозыск, в штатском, с залысинами, вежливый. Он говорит мальчику со сломанными рёбрами «правильно». Пьяный Митрич говорит, что он закрывает глаза на Депо. Галина Петровна говорит, что виновные в кражах с вагонов пока не установлены. Двоих с Кирпички посадили, двоих с Чайки посадили. С Депо — ни одного.

Теперь — самое важное. То, что не лежит ни на одной полочке, а лежит между ними.

Галия-апа объясняет это железной дорогой. Но железная дорога объясняет вагоны, а не мост. Мост — это наш районный отдел, это капитан Ахметов, это «упал с моста», записанное в протокол.

Значит, у Шатуна с Ахметовым что-то есть.

Что может быть у старшего уличной конторы с капитаном угрозыска? Только две вещи. Либо Шатун ему платит. Либо Шатун ему стучит.

Если бы Шатун платил, Ахметов закрывал бы глаза. Не видел бы, что творится на мосту, не раскрывал бы кражи с вагонов, записывал бы «упал». Это и есть закрытые глаза. Это сходится.

Но это объясняет не всё.

Это не объясняет весну. В пятницу вечером Кирпичка собирается в подвале, чтобы идти за мост. В восемь вечера, ровно в восемь, приезжают три машины. Это не закрытые глаза. Это открытые глаза — очень открытые, и смотрят они не на Депо, а на Кирпичку. Кто-то сказал милиции, где, когда и зачем. И милиция приехала вовремя — не раньше и не позже. Одних денег здесь было мало. Нужна была информация.

И ещё одно. Можно было заплатить, чтобы милиция не трогала своих. Можно было, наверное, заплатить и за чужой арест. Но время сбора всё равно должен был кто-то назвать. Деньги сами не знают, в какой подвал приехать ровно в восемь.

У Ахметова был источник. Вопрос — кто и что получал взамен.

Колония учит людей двум вещам: набивать перстни на пальцы и разговаривать с кумом. Шатун вернулся оттуда с перстнями. Я не видел, с чем ещё он вернулся. Но я видел, как он сидел в парилке у стены, лицом к двери, — так сидят люди, которые знают, что их могут сдать, потому что сами знают, как это делается.

Я поставил на «стучит».

Доказательств у меня не было. Только расписание, следы на снегу, бурое пятно на ступеньке, пьяный Митрич, мамино «правильно» и сумка от противогаза, которая висела у Лома на плече, перекашивая его. Но доказательства — это то, что нужно суду. Мне нужно было понимать.

И когда я поставил на «стучит», всё остальное встало на свои места.

«Пусть они суетятся».

Шатуну не нужна победа в драке с Кирпичкой. Ему нужна сама драка. Ему нужно, чтобы Сухой, у которого испортили корону и покалечили пацана на мосту, собрал своих и пошёл за мост — потому что так велит улица, потому что на пощёчину отвечают пощёчиной, потому что иначе Кирпичку перестанут уважать. И в тот вечер, когда Сухой соберётся, у котельной в восемь, ровно в восемь, будут стоять три машины. Или пять. Всех, кто в подвале, — в отдел. Сухого — надолго: он старший, и он после армии, ему «организацию» припишут. И через полгода Кирпички не будет. Будет асфальт без хозяина, который заберёт Депо.

Шатуну не нужно побеждать. За него победит капитан Ахметов. Даже не зная, что воюет за Шатуна.

И Сухой это чувствует. Не знает — чувствует. Поэтому неделю молчит. Поэтому пьяные мужики у ларька думают, что он ссыт. Он не ссыт. Он стоит посреди доски и видит, что любой его ход — плохой.

А ещё есть собака, которая не лаяла.

Кто-то из своих пустил в ночь на понедельник депошных с ведром кузбасслака мимо будки сторожа, в ста шагах от подвала. Кто-то, кого рыжая собака знает. Кто-то, кто весной, когда милиция приехала ровно в восемь, был за старшего.

Я не люблю выводов из одного факта. Из двух — тоже. Я положил эту мысль на отдельную полку, в самый дальний угол, и запретил себе на неё смотреть.

Пока.

Оставался последний вопрос, самый простой. Зачем это всё мне?

Мне было всё равно, кто держит гаражи — Кирпичка или Депо. Мне было всё равно, кто собирает гривенники в буфете — Зуб или кто-то с молоточками на пуговицах. Я не собирался мотаться ни с кем, а значит, ни одна из этих войн не была моей.

Но гаражи стояли под нашими окнами. Котельная — в ста шагах от нашего подъезда. Мост — в пятнадцати минутах ходьбы. Если на Кирпичке начнётся война, она начнётся у нашего подъезда. А у нашего подъезда каждое утро в половине восьмого ходит девочка в пальто, с ранцем и октябрятской звёздочкой.

И ещё мальчик, тринадцати лет, со сломанными рёбрами, который «упал с моста». Он не был моим. Но его брат ходил за мной одними улицами, в пятидесяти метрах, по другой стороне. А потом сидел до утра в коридоре травмпункта, в сером пальто, из которого вырос, и пил чай из маминого термоса.

Я не знаю, как это посчитать. Я пытался. У этого опять не было цифр.

* * *

В понедельник, девятнадцатого, после уроков, у котельной меня ждали.

Двое. Не скорлупа и не супера — взрослые, лет по девятнадцать — двадцать. Один — здоровенный, молчаливый, с лицом, на котором ничего не происходило, в телогрейке и кирзовых сапогах. Второй — пониже, покрепче, в расстёгнутом драповом пальто, кудрявый, без шапки. Он улыбался.

Он улыбался мне так, будто мы с ним были знакомы сто лет.

— Ты, что ли, Авоська? — весело спросил он. — Вологодский?

— Я.

— Валера, — сказал он и протянул руку.

Я пожал. Рука у него была тёплая, сухая, крепкая. На пальцах — синие следы, как от школьного мела. Только мел в школе белый.

— Не ссы, Авоська, — сказал Валера Ломакин и хлопнул меня по плечу. — Никто тебя не тронет. Тебя Сухой зовёт. Завтра. В семь. Сюда. — Он кивнул на подвальную дверь, над которой горела лампочка в проволочной сетке. — Один приходи. Поговорить хочет. Ильдар — он любит поговорить.

— Хорошо, — сказал я.

— Вот и молодец. — Лом подмигнул. — Видишь, Серый, а говорили — борзый. Нормальный пацан. Вежливый.

Здоровенный Серый ничего не сказал. Он смотрел на меня так, как смотрят на погоду.

Они ушли — Серый к баракам, Лом к своему второму подъезду, насвистывая. Я стоял у котельной и смотрел ему вслед.

Я знал, что меня позовут. Я знал это с понедельника, с той минуты, как человек на ступеньках подвала поднял голову и сосчитал этажи. Я знал, что позовёт Сухой.

Я не знал, что передаст мне его слова человек с сумкой от противогаза, чьи пальцы испачканы синим.

Собака у будки сторожа подняла голову, посмотрела Лому вслед и не залаяла.

Глава 5. Качалка

Вторник, 20 ноября 1979 года

О том, что меня зовёт Сухой, я не сказал никому. К первому уроку об этом знала вся школа.

Я понял это ещё в раздевалке. Двое восьмиклассников у вешалок замолчали, когда я вошёл, и один спросил другого — не шёпотом, а так, как спрашивают про погоду:

— Этот?

— Этот.

И посмотрели на меня так, как смотрят на того, кого вызвали к директору: с сочувствием и с облегчением, что не их.

На лестнице мне уступили дорогу двое из девятого «А». В коридоре третьего этажа пятиклассник показал на меня пальцем, и сестра, постарше, шлёпнула его по руке. Учителя не знали ничего. Это было видно по тому, как старательно они ничего не знали.

Зуб ждал у двери кабинета литературы. Пластырь с носа он снял, и нос оказался жёлто-зелёным, как синяк, которому неделя. Он и был синяком, которому неделя.

— Авоська! — сказал он громко, для всех. — Ты завещание написал? Пенал мне отпиши. И шапку.

Засмеялись. Я покраснел — задержать дыхание, напрячь шею — и прошёл на своё место.

* * *

Женя молчал весь урок.

Это было на него не похоже. Обычно он шёпотом комментировал всё подряд — от опечаток в учебнике до проводки в кабинете: «Алюминий, Макс. Кто ж алюминий кладёт». Сегодня он сидел, как сидят в очереди к зубному, и на меня не смотрел.

За десять минут до звонка он сдвинул локтем учебник. Под учебником на парте лежала монета. Пятнадцать копеек.

— Возьми, — сказал Женя, не поворачивая головы.

— Зачем?

— Если там... ну. Скажут платить — отдашь. Пятнадцать — это за прописку. Я узнавал.

— Это твои.

— Мои всё равно уйдут, — сказал Женя. — Не тебе, так Зубу.

Он сказал это без жалобы. Так говорят про закон Ома.

Я посмотрел на монету. Она была тёплая — он, видимо, весь урок держал её в кулаке.

Женя всё посчитал. Эти пятнадцать копеек не принадлежали ему с той минуты, как мама утром дала их на обед. Они принадлежали Зубу. Единственное, что Женя мог с ними сделать, — выбрать, кому они достанутся. Наверное, это было единственное, что он вообще мог выбрать в этой школе.

Отказаться — значило сказать ему, что его выбор ничего не стоит.

Я взял монету и положил в карман.

— Верну, — сказал я.

— Да не надо.

— Верну.

Своё я не отдаю. Чужое не беру насовсем.

* * *

Бурый пришёл ко второму уроку.

Он шёл по проходу медленно, чуть отводя левую ногу в сторону, как отводят ногу, которая не до конца сгибается. Под штаниной угадывался эластичный бинт. Сел на своё место у батареи — и не смог, как раньше, закинуть левое колено на правое. Выставил ногу в проход.

— Хайруллин, ногу убери, — сказала математичка.

— Не могу. Производственная травма.

Класс захохотал. Математичка махнула рукой и повернулась к доске.

На меня Бурый не посмотрел ни разу — ни на алгебре, ни на физике. Это тоже было сообщение.

На большой перемене он поймал меня на лестнице между вторым и третьим этажами.

— Слышь. Отойдём.

Мы отошли к окну на площадке. Внизу, во дворе, дворник скалывал лёд с крыльца. Бурый встал так, чтобы загораживать меня от лестницы и чтобы его самого не было видно снизу.

— Ты к Сухому сегодня.

— Да.

— Чё скажешь?

— А что он спросит?

— Не умничай, бля. — Он поморщился, то ли от колена, то ли от слова. — Про гаражи спросит.

— Про гаражи скажу, как было.

У Бурого дёрнулась скула.

— И как было?

— Гололёд, — сказал я.

Бурый смотрел на меня секунды четыре. Я видел, как он ищет в моём лице подвох, насмешку, жалость — и не находит. Я ничего туда не положил.

— Ты меня не жалей, — сказал он наконец тихо. — Понял? Я тебе не чушпан, чтоб меня жалеть.

— Я не жалею. Я поскользнулся. Ты тоже. Там у будки лёд.

Он помолчал.

— Сухой — не я, — сказал он. — Сухой чует, когда пиздят.

— Я знаю.

— Откуда?

— Ты сказал ему «гололёд». А он позвал меня.

Бурый открыл рот и закрыл. До него дошло — я видел, как дошло: по лицу, снизу вверх, как краска. Он сказал своему старшему «гололёд», и старший не поверил. Не наказал, не сказал ни слова. Просто позвал меня, чтобы послушать вторую версию.

— Сука, — сказал Бурый. Не мне. Себе, лестнице, колену, всему сразу.

Потом он сделал то, чего я от него не ждал.

— В глаза ему смотри, — сказал он. — Сухой не любит, когда в пол.

И пошёл вниз, держась за перила.

Это был первый совет, который я получил от Бурого. Давал он его не мне, а себе. Если я провалюсь у Сухого, вместе со мной провалится и его гололёд. Неделю назад у будки, при скорлупе, он выбрал версию, в которой не проиграл. Теперь эту версию приходилось охранять. А охранять её, кроме меня, было некому.

* * *

После шестого урока у раздевалки меня остановила Лиля.

Она была уже в зелёном пальто, с портфелем, и ждала, видимо, не меня. Но дождалась меня.

— Во сколько? — спросила она.

— Что — во сколько?

— Не начинай, Белозёров. К Сухому — во сколько?

— Откуда ты знаешь?

— Марсель вчера за ужином сказал. А Марселю — Студент. — Она перекинула косу через плечо. — Студент спрашивал, во сколько. Ему интересно.

— Зачем Студенту?

— Студенту интересно всё, что может чего-нибудь стоить. — Лиля посмотрела на меня. — Сколько стоишь ты, он пока не решил.

Она застегнула верхнюю пуговицу.

— Ильдар у нас дома бывал. Давно, маленький ещё. Они с Марселем в одну секцию ходили, на бокс, при ДК. Он мне косички дёргал и таскал «Мишку на Севере» из вазочки.

— И какой он?

— Хороший, — сказала Лиля. Подумала и добавила: — Это и плохо.

— Почему?

— Плохого можно купить. Или напугать. А хорошего — никак. Он в свои правила верит, Белозёров. Такие опаснее всех.

Она взяла портфель.

— И не забудь: в четверг твоя политинформация. Сам вызвался. Ты первый человек за три года, который на политинформацию вызвался сам.

— Мне интересно, что в мире происходит.

— Ага, — сказала Лиля. — В мире.

* * *

Мама ушла на смену в двадцать минут седьмого.

Собиралась она быстрее, чем в первый раз, — привыкала. Халат, тапочки, бутерброды в газете, термос. Поцеловала Настю, отца. Меня — в макушку, встав на цыпочки, и задержалась.

— Ты какой-то тихий сегодня.

— Я всегда тихий.

— Тише обычного. — Она смотрела на меня как мама. Потом, на секунду, как врач. — Что-нибудь случилось?

— Завтра контрольная по алгебре.

— Ты же не боишься контрольных.

— Не боюсь, — сказал я. — Думаю, на сколько написать.

Мама засмеялась: решила, что я шучу. Отец крикнул из комнаты: «На пять, старик! Мы в тебя верим!» Дверь закрылась.

Я не шутил.

— Пап, я в читалку. До восьми. Тут Настя поёт.

Настя действительно пела «Голубой вагон» — в третий раз подряд и в третий раз не на тот мотив.

— Иди, — сказал отец, не поднимая головы от Настиной тетради по математике. — Шапку надень.

Я надел шапку и взял с подоконника «Отцов и детей».

В библиотеке я пробыл двадцать две минуты — ровно столько, чтобы библиотекарша меня запомнила. Попросил справочник по истории Казани, второй раз за неделю, и она обрадовалась так, будто я пришёл свататься к её дочери. Алиби должно быть настоящим хотя бы наполовину. Тогда вторую половину никто не проверяет.

* * *

В восемнадцать пятьдесят восемь я стоял наверху лестницы, которая вела в подвал котельной.

Ступенек было одиннадцать. Я сосчитал их в четверг днём, когда у котельной никого не было, — вместе со всем остальным. Железная дверь, крашенная суриком, снаружи без ручки, только скоба под висячий замок. Над дверью лампочка в проволочной сетке. С другой стороны здания — вход в кочегарку для кочегара: деревянная дверь, обитая жестью. Я видел, как

кочегар выходил выплеснуть золу на снег и как за ним изнутри лязгнул крюк. Котлы в таких котельных стоят ниже уровня земли. Значит, подвал и кочегарка соединены. Значит, второй выход есть.

Второй выход надо знать раньше первого. Это не значит, что им надо пользоваться.

Мама сегодня дежурила. Если что-то пойдёт не так, меня повезут к ней. Из всех доводов за то, чтобы всё прошло как надо, этот был самым убедительным.

Я подождал, пока секундная стрелка дойдёт до двенадцати, и спустился.

Дверь открылась раньше, чем я постучал.

— Минута в минуту! — Лом стоял на пороге в свитере с оленями, кудрявый, раскрасневшийся, и сиял так, будто я принёс ему телеграмму с выигрышем. Он обернулся внутрь: — Ильдар! Гляди — немец пришёл! Пунктуальный!

— Пусть стоит, — сказал голос снизу.

Не громко. Лязг железа за этим голосом даже не прервался.

— Слыхал? Стой, — весело сказал Лом и посторонился. — Проходи, вологодский. Ноги можешь не вытирать, у нас не Эрмитаж.

За дверью был короткий коридор, а в конце коридора — ещё четыре ступеньки вниз, бетонные. На верхней стоял Серый, в той же телогрейке, и смотрел на меня так же, как вчера: как на погоду. Я прошёл мимо него и спустился.

Жара ударила в лицо, как из открытой духовки.

Снаружи было минус двенадцать. Здесь — не меньше двадцати пяти тепла. За стеной стояли котлы, и стена была тёплой, как бок печки. Трубы под потолком, обмотанные стекловатой и тряпками, потели и роняли капли на пол. Пахло потом, углём, ржавчиной, мокрым бетоном, резиной и ещё чем-то кислым и тяжёлым — так пахнут старые валенки, когда в них долго бьют.

В них и били.

Помещение было длинное и низкое, метров двенадцать на пять, со стенами из побелённого кирпича. Пол застелен резиновыми полосами — транспортёрной лентой, по которой на кирпичном заводе едет кирпич. У дальней стены лежала штанга. Вместо грифа — колёсная ось от заводской вагонетки, вместо блинов — секции чугунных батарей, по три с каждой стороны, скрученные проволокой. Килограммов семьдесят, прикинул я. Вдоль стены стояли гантели: старые чугунные утюги, из тех, что греют на плите, с ручками, обмотанными изолентой. Рядом — кирпичи, стопками. Кирпичи с кирпичного, конечно. Их, видимо, тоже поднимали. Под потолком тянулась водопроводная труба, на метровом участке отполированная ладонями до блеска: турник. На колодезной цепи висел мешок — брезент поверх мешка из-под цемента, внутри что-то тяжёлое, песок с опилками. Мешок был в трёх местах перемотан изолентой.

Над деревянной скамьёй висела вырезка из «Советского спорта»: Василий Алексеев держал над головой штангу и улыбался, как будто она ничего не весила. Рядом — плакат Минздрава, явно снятый со стены в поликлинике: «Курить — здоровью вредить!», и сигарета, переломленная пополам. Плакат был официальный, правило — нет. Здесь они совпали. А выше, под самым потолком, белой краской была нарисована корона о трёх зубцах и буквы «КР». Такая же, как на гараже. Только эту никто не перечеркнул.

Проводка шла по стенам ровно. Не висела петлями, как в подвалах, а бежала по фарфоровым роликам, по линейке, с одинаковыми изгибами на каждом повороте. Три лампочки, две голые, одна в сетке, над мешком. Розетка, в розетке — плитка, на плитке — чайник. Так делает человек, который не умеет делать криво.

Я знал, кто здесь электрик.

В подвале было семеро. Трое суперов: двое у штанги, один подтягивался на трубе. Лом — у плитки. Серый — на верхней ступеньке, у меня за спиной. И у мешка — Сухой с мальчишкой.

Восьмой был за стеной, в кочегарке: оттуда доносился скрежет лопаты по углю. Шорх. Пауза. Шорх.

У двери на гвоздях висели два пальто. Драповое, с каракулевым воротником, — Лома. И серое, детское, из которого хозяин давно вырос: рукава вот досюда. Два пальто на соседних гвоздях. Первое стоило, наверное, столько же, сколько хозяин второго проживал за год.

Хозяин серого пальто стоял перед Сухим, в майке и трениках, и бил.

Санька Трофимов. Мой хвост с прошлой недели. Без пальто он оказался ещё меньше: острые лопатки, шея в цыпках, руки до локтя замотаны бинтами. Сухой держал перед ним лапы — старые валенки, разрезанные и прибитые к фанерке, — и Санька бил в них, двойками, левой-правой, сопя и закусив губу.

— Локоть, — сказал Сухой. — Не отводи. Он видит, куда ты бьёшь, раньше тебя.

Санька ударил ещё раз.

— Не злись. Злой — слепой. Ещё.

Он учил так, как учат те, кого самих учили хорошо: негромко, немного, по одному замечанию за раз. Он не хвалил. Когда Санька ударил правильно, Сухой просто сказал «вот» — и после этого «вот» Санька три раза подряд ударил правильно.

Меня учили так же. Почти теми же словами. Только раньше. И строже.

Сухой не посмотрел на меня ни разу. Шесть минут. Я стоял у нижней ступеньки, в пальто, с шапкой в руке и книгой под мышкой, и ждал. Это тоже был разговор: мне объясняли, кто здесь кого ждёт.

Я использовал эти шесть минут.

На нём была армейская майка, растянутая и застиранная до серого, старые синие треники с пузырями на коленях, кеды. Руки до запястий в бинтах. Стрижка под машинку, как неделю назад на рассвете. Лицо скуластое, смуглое, неулыбчивое. Глаза тёмные, внимательные; моргал он редко. На правой ладони, когда он перехватывал лапу, мелькнул свежий ожог, глянцевый, розовый, — от провода или от паяльника. Электрик.

Под глазами лежали серые тени. Такие бывают у отца, когда у него не сходится схема. Сухой работал на кирпичном с восьми утра. В шесть он был здесь, со снегом. Вечером — снова здесь, с Санькой. А между этим лежала неделя, за которую ему испортили корону и покалечили пацана. Ему было двадцать, и двигался он как двадцатилетний. Но когда он опустил лапы, то секунду постоял так, как стоят сорокалетние после смены — всем весом сразу.

— Всё, Санёк, — сказал он. — На сегодня.

Он вынул из кармана треников сложенную бумажку. Красную. Червонец.

— Матери отдай. На передачи Мишке. Скажи — от пацанов.

Санька взял, кивнул и стал одеваться. Натянул серое пальто, руки вылезли из рукавов почти до локтя. Пошёл к выходу. Проходя мимо меня, он не остановился — только сказал, не поднимая глаз:

— Мамке своей спасибо скажи. За чай.

— Скажу, — сказал я.

Я не скажу. Чтобы сказать, мне пришлось бы объяснить маме, откуда я знаю мальчика из коридора травмпункта. Спасибо осталось у меня, как Женины пятнадцать копеек. Чужое, которое некуда отдать.

— Пацаны, всё, — сказал Сухой. — По домам.

Супера бросили железо и пошли к выходу. Каждый пожал руку Сухому, Лому, Серому — каждый каждому, как у котельной в пятницу. Мимо меня прошли, как проходят мимо вешалки. Последний, здоровый, лет шестнадцати, задел меня плечом — не сильно, ровно так, чтобы я заметил. Я заметил и отступил. Сухой посмотрел ему в спину, и тот, не оборачиваясь, прибавил шагу.

Хлопнула железная дверь. В подвале остались мы четверо и лопата за стеной.

Сухой сел на скамью и стал разматывать бинты. Не сдёргивал, а сматывал — виток за витком, в тугой ровный рулон, — так в армии сматывают всё, что можно смотать.

— Шестой этаж, — сказал он, не поднимая головы. — Третье окно слева.

Он сказал это бинту.

— Это наше окно, — сказал я.

— Знаю, что ваше. — Он докатал рулон и положил на скамью. — В понедельник ты там стоял. Когда «Место встречи» шло. Сбоку, без света.

— Ты не мог меня видеть.

— Не мог, — согласился Сухой. И поднял глаза. — А ты стоял?

Тут я понял, что Лиля была права.

Соврать было легко. На это ушла бы секунда. Но он не спрашивал, видел ли он меня. Он спрашивал, правильно ли он посчитал. Ответ он знал сам — так же, как знал бы я на его месте. Врать человеку, который уже знает, — это не защита. Это оскорбление.

— Стоял, — сказал я.

— Вот, — сказал Сухой. И кивнул на стопку кирпичей посреди подвала: — Садись.

Я сел. Стопка была в полметра высотой, ниже скамьи. Сухой сидел спиной к стене, лицом к ступенькам. Я оказался к ступенькам спиной. Спиной к Серому.

Первый раз за десять дней в этом городе я сидел спиной к выходу. Он посадил меня так нарочно. И знал, что я это знаю.

На «вы» здесь обращаются к учителям и к милиции. Ни тем, ни другим Сухой быть не хотел. Я решил, что буду говорить ему «ты».

— Валер, — сказал Сухой. — Чаю ему.

Лом налил из чайника в эмалированную кружку с отбитым краем, щедро сыпанул сахару из стеклянной банки — три ложки — и протянул мне.

— Сахарок депошный, — подмигнул он. — С вагона.

Сухой посмотрел на него.

— Шучу, Ильдар, шучу! — Лом поднял ладони. — У Зойки брал. Она, сука, на двадцать копеек обсчитала.

Люди шутят о том, о чём думают. Я взял кружку.

— Ты знаешь, почему его Сухим зовут? — Лом присел на край скамьи, у Сухого за правым плечом, и подмигнул мне ещё раз. Он, видимо, не мог долго молчать: молчание давило на него, как вода на ныряльщика. — Думаешь, худой? Не-е. За сухой закон. С пятнадцати лет ни капли. Ни на проводах, ни на свадьбе, ни на дембеле. Я на его дембеле один за двоих пил — и за себя, и за него. Чуть не сдох.

— Валера, — сказал Сухой.

— А чё? Пусть знает, к кому пришёл.

Я слушал его вполуха. Я смотрел на руку, которая подала мне кружку.

Пальцы были синие.

Не все — три: большой, указательный и средний. На подушечках и по бокам, вбито в кожу, в трещинки у ногтей. Как в понедельник. Только свежее.

В понедельник я сказал себе: как от мела, только школьный мел белый. Теперь я досказал до конца.

Синий мел бывает в двух местах — у портных и на бильярде. Портной из Лома был такой же, как из меня чушпан. Бильярдный мел — синий кубик с ямкой посередине. Им натирают кончик кия перед каждым ударом, а пальцы потом вытирают о штаны, и до конца они никогда не оттираются. В Вологде, в парке культуры, летом стоял бильярдный павильон, и я видел, как там играли на деньги. У всех, кто играл всерьёз, были такие пальцы.

Бильярдная в округе одна. Я видел табличку в субботу: клуб железнодорожников, боковой вход. «Бильярдная. Вход с 18 лет».

Лому было девятнадцать. По правилам клуба ему туда было можно. По правилам улицы — нельзя. Клуб стоял посреди асфальта Депо, в трёхстах шагах от моста, на ступеньках которого неделю назад три пары рубчатых подошв прошлись по спине тринадцатилетнего мальчика из Кирпички. Правая рука Сухого ходил в клуб Депо играть на деньги. И возвращался оттуда с мелом на пальцах и целыми рёбрами.

Чужого на асфальте Депо не отпускают — это мне сказал Колька в первый же день. Значит, Лом там не чужой. Значит, он там зачем-то нужен. Кирпичный старший может быть нужен депошным только двумя способами: деньгами, если проигрывает, или словами, если говорит.

Собака, которая не залаяла. Весна, когда за старшего был Лом и милиция приехала минута в минуту. Синий мел. Из одного факта я выводов не делаю. Из двух — тоже. Это был третий.

Из трёх я выводы делаю. Но про себя. И шёпотом.

Я отпил чаю. Чай был крепкий, тёмный, сладкий до горечи.

Сухой взял у меня с колен книгу. Повертел. Открыл обложку — посмотрел библиотечный штамп, кармашек с формуляром.

— «Отцы и дети». — Он закрыл книгу. — Базаров.

И положил её обратно мне на колено.

— Потом, — сказал он.

Потом он долго молчал, глядя, как я пью. Лом что-то насвистывал. За стеной скребла лопата.

— Рамиль говорит — гололёд, — сказал Сухой.

— Гололёд.

— И Зуб, говорит, сам налетел.

— Сам.

Сухой помолчал.

— Рамиль на льду с семи лет, — сказал он. — В коробке на коньках лучше всех стоял. Его в спортшколу звали. Пока колено не порвал — в восьмом, на той же коробке. Полгода по больницам, и на второй год. — Он смотрел на меня не мигая. — Рамиль мне никогда не врал. Ни разу. А тут — гололёд.

Я молчал. Смотрел ему в глаза, как советовал Бурый.

— Ты мне скажи, — негромко сказал Сухой. — Мне можно. Я никому.

— Там у будки лёд, — сказал я. — Сторож воду выливает.

Сухой смотрел на меня ещё секунды три. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Валер. Этот остыл. Сходи к деду, кипятку набери.

— Да он горячий ещё...

— Сходи.

Лом пожал плечами, взял чайник и пошёл к дальнему углу, где в стене был проём, завешенный брезентом. Брезент откинулся, и на секунду я увидел кочегарку: два котла, чёрные, в заклёпках, открытая топка, в топке гудит белое пламя. И старик с лопатой — в ватнике, без шапки, с седой щетиной, — швыряет уголь в огонь, не глядя ни на кого.

Я посмотрел на его ноги раньше, чем на лицо. Ноги были одинаковые.

Я отвернулся. Брезент упал.

Сухой встал. Подошёл — два шага — и протянул левую руку:

— Дай кружку.

Я поднял кружку.

Правый кулак пришёл мне в лицо раньше, чем я успел её отдать.

Я видел этот удар раньше, чем он начался. Правое плечо не довернулось, вес остался на задней ноге, локоть пошёл чуть шире, чем идёт, когда бьют насквозь. Так бьют, когда собираются остановиться, а не дойти. Тело прочитало это за меня и решило, что не нужно. Не морг-

нуло. Не дёрнулось. Кулак остановился в сантиметре от переносицы. От бинтовых следов на костяшках пахло потом и железом.

Чай в кружке не качнулся.

А потом я вспомнил, кто я, и испугался. Как положено: зажмурился, отшатнулся, вскинул руки, плеснул чаем себе на колено, чуть не слетел с кирпичей. Хорошо испугался. Убедительно.

На полсекунды позже, чем нужно.

Сухой опустил руку. Забрал у меня кружку — то, что в ней осталось, — и сел обратно на скамью.

— Чай у тебя не качнулся, — сказал он. — Пока я бил. А облился ты потом.

Я посмотрел на мокрое пятно на колене. Оно было неопровержимо, как подпись под протоколом.

Рефлекс нельзя сыграть. Его можно только иметь — или не иметь. Мой из меня вынули давно, терпеливо, по одному морганию, и положили на его место другое: сначала смотри. А сыграть то, чего у тебя нет, можно только с опозданием: сначала понять, что сейчас надо испугаться, потом испугаться. Полсекунды. Для шахматиста это ничто. Для боксёра — вечность.

Сухой был боксёром.

Он ждал. Не спрашивал — ждал, когда я начну врать. По его лицу было видно, что он к этому готов и что ему будет скучно.

— Меня учили не моргать, — сказал я.

— Кто?

— Это не моё — рассказывать.

Сухой смотрел на меня долго. За стеной скребла лопата. Капля с трубы упала на резину между нами.

— Правильно, — сказал Сухой.

Второй раз за неделю взрослый человек в этом городе говорил «правильно» тому, кто промолчал. Первым был капитан Ахметов — у кровати Мишки Трофимова. Сухой и Ахметов стояли по разные стороны всего, что только бывает на свете. А правило у них было одно.

— Значит, у гаражей — не гололёд, — сказал Сухой.

— Гололёд.

Он засмеялся. Первый раз за вечер — коротко, в нос — и сразу перестал.

— Упрямый. — Он покачал головой. — Ладно. Гололёд так гололёд. Рамиля ты не сдал. Это я запомню.

Мы оба знали. И оба сказали «гололёд». Так здесь договариваются: правду знают все, а вслух говорят то, что всем удобно.

— Чё смотришь? — спросил он.

Я смотрел на то, как он сидит. Спиной к стене, лицом к ступенькам, чтобы видеть каждого, кто спустится.

— Ты сидишь лицом к двери.

— Армия.

— Шатун тоже так сидит. В бане.

Сухой едва заметно прищурился: про баню он знал.

— У Шатуна — зона, — сказал он. — А у тебя?

— А я сижу спиной.

— Я тебя так посадил.

— Я знаю.

Он хмыкнул. Ни один из нас не сказал, откуда это у меня. Я сидел спиной к ступенькам уже четверть часа, и всё это время затылок у меня слушал их, как слушают радио в соседней комнате.

Брезент откинулся, и вернулся Лом. Из носика чайника валил пар.

— Дед, бля, глухой совсем, — сообщил он. — Пять минут ему орал. — Увидел пятно у меня на колене и заржал: — О! Вологодский! Ты чё, обоссался?

— Чай пролил, — сказал Сухой. — Руки трясутся.

Он сказал это спокойно, не глядя на меня, и налил себе кипятку.

Он не сказал Лому. Он оставил это себе — так же, как я оставлял себе всё, что знал. Он не знал, насколько был сейчас прав.

* * *

— Ладно, — сказал Сухой. — Теперь по делу.

Он поставил кружку на скамью.

— В среду ты в библиотеке газеты читал. Подшивки, за два месяца. Санька в окно видел. — Он загнул палец. — В субботу — Депо, баня. С батей. Шатуна видел. — Второй палец. — В воскресенье — Чайка, кино. С сеструхой. Студента видел. С Лилькой Сафиной разговаривал. — Третий. — Ты десять дней в городе. И за одну неделю на всех трёх асфальтах был. Мои пацаны на чужой асфальт без дела не ходят. А ты ходишь как по своему.

Он смотрел на меня.

— Мамка — врачиха. Батя — инженер. А сын в газетах роется и по трём асфальтам ходит. Ты у нас кто — Шарапов?

Лом захохотал:

— Ильдар! Шарапов, бля!

— Кино все смотрели, — сказал Сухой, не улыбнувшись. — Шарапова к Горбатому заслали — он тоже тихий был. Вежливый. Ахметов, знаешь, тоже любит, чтоб у него везде глаза были.

Сухой знал, что у Ахметова везде глаза. Он не знал, чьи.

— С папой — в баню, — сказал я. — С сестрой — в кино. В библиотеку — политинформация. В четверг.

На политинформацию я вызвался в прошлый четверг — на следующий день после того, как увидел за стеклом читальни серое пальто с короткими рукавами. Алиби лучше делать заранее.

— Политинформация, — повторил Сухой.

— Ильдар, он как ты! — обрадовался Лом. — Тоже политинформацию любит!

— Везде с кем-то, — сказал Сухой, не обращая на него внимания. — А сам — ничей.

— Засланного пришивают, — сказал я. — Ему внутрь надо. Шарапов у Горбатого был внутри. А я к вам не прошусь.

Сухой молчал.

— И если я засланный, — сказал я, — то меня заслали в девятый «Б». Там секрет один: сколько Зуб в буфете за день собирает.

Лом заржал так, что поперхнулся. Сухой — нет. Но угол рта у него дёрнулся.

— Сколько? — спросил он.

— Рубля три с параллели. В пятницу — вдвое.

Лом перестал смеяться. Не сразу — через секунду. Через ту самую секунду, за которую человек, который носит сумку от противогаза, успевает умножить три рубля на пять дней и на три параллели.

— Вот это ты зря сказал, — заметил Сухой. Без злости. — Ладно. Не засланный. — Он откинулся к стене. — Тогда чей?

— Ничей.

— Ничей, — повторил Сухой.

Он снова взял у меня с колена книгу и повертел в руках.

— Вон Базаров твой тоже ничей был. Ни во что не верил, никого не слушал. Всех послал — вежливо, по-учёному. И чем кончил? Порезался и помер. Один, в деревне.

— Он порезался, потому что думал не о том, — сказал я.

— О бабе думал.

— Об Одинцовой.

— Ну. О бабе. — Сухой положил книгу обратно. — Все думают не о том, малай. Каждый день. Поэтому одному и нельзя. Когда ты один и думаешь не о том, некому сказать тебе: под ноги смотри.

Это был хороший ответ. Лучше, чем у Нины Аркадьевны.

Сухой взял второй бинт и снова начал его сматывать, хотя тот был уже смотан. Рукам нужно было дело.

— Мне четырнадцать было, — сказал он. — Февраль семьдесят четвёртого. Батя в получку не дошёл до дома. Двести метров не дошёл. Сел у колонки в сугроб — отдохнуть. Я его утром нашёл, когда за водой пошёл. С вёдрами.

Он сказал это ровно, как говорят про погоду. Слова были обкатаны. Он рассказывал это не первый раз — и, наверное, не десятый. Но обкатывают обычно то, что режет.

— Завод венок прислал. «От коллектива». Профорг речь сказал: Гимадиев — передовик, на Доске почёта висел. Висел, да. Пока за прогулы не сняли. — Он помолчал. — А земля в феврале как бетон. На кладбище говорят: ждите оттепели или платите. Платить нечем. И тогда пацаны пришли. Тогдашние старшие, кирпичные. Пятеро. Всю ночь костры жгли, землю отогревали и долбили. Валерка вон тоже пришёл. — Он кивнул себе за плечо, не оборачиваясь. — Ему пятнадцати не было. У отца в сарае лом взял, больше себя самого. Отсюда и Лом. Думаешь — от фамилии? От лома.

Лом засмеялся.

Смех вышел короче, чем нужно. На полсекунды. Как мой испуг.

— Да ладно, Ильдар, — сказал он и посмотрел куда-то в сторону, на плитку, на чайник. — Чё ты опять...

— А потом полгода, — сказал Сухой, — каждый месяц у матери в почтовом ящике тридцатка. Без записки. Эни до сих пор думает — с завода. Я не говорю.

Он положил бинт на колено.

— Вот тогда я и понял. Есть государство. Оно далеко. Оно тебе даёт очередь и проходную. Мать четырнадцать лет на квартиру стоит. Я в армию уходил — она сто двенадцатая была. Вернулся — девяносто восьмая. А проходная — вон она, кирпичный. Батя через неё восемнадцать лет ходил. Туда — трезвый. Обратно — как придётся. Есть мусора. Мусора приходят и уходят. Есть родня — родня плачет. А есть пацаны. Пацаны — рядом.

Он говорил негромко, и в подвале было слышно только его голос и лопату за стеной.

— Я из этих сопляков людей делаю, — сказал Сухой. — Ты думаешь, я их бить учу? Бить они и без меня умеют. Я их учу не пить: у половины бати пьют. Не курить. Слово держать: сказал — сделал. Своих не бросать. Их кто-нибудь ещё этому учит? Школа? Там стишки и макулатура. Батя? У Рамиля батя пьёт так, что мать на двух работах. Знаешь, кем бы Рамиль без улицы был? Вторым батей. Через десять лет — в сугробе у колонки. А так он человек. Пацан.

Он взял кружку, отпил и поставил.

— Ты видел, я Саньке дал. Думаешь, мои? Общие. Мишке на передачи, на лекарства. Конева матери, пока Петька сидит. Ахмерову на зону посылку раз в квартал. Адвокату — когда надо. Я с общака себе ни копейки не взял. Ни одной.

У него за плечом Лом потёр пальцы друг о друга. Медленно, большим об указательный и средний, — будто растирал что-то, что никак не растиралось.

— «Нет уз святее товарищества», — сказал Сухой. — Гоголь. В седьмом классе наизусть учили. Я тогда думал — это про казаков.

— О, политинформация пошла, — сказал Лом и подмигнул мне. — Он у нас, когда разойдётся, — как Брежнев. Только без бумажки.

Сухой не улыбнулся.

Я тоже учил это наизусть в седьмом классе. В седьмом классе учат речь Тараса про товарищество. Что Тарас потом сделал с Андрием, наизусть не учат.

Это была хорошая правда. Лучше той, которую Галина Петровна читала нам с листа в актовом зале. В ней была мёрзлая земля в феврале, тридцатка без записки и червонец мальчишке на передачи брату. С такой правдой не спорят.

Я и не стал. Я только подумал о Жене. О его пятнадцати копейках, которые лежали сейчас у меня в правом кармане. О том, что вся эта правда — с могилой, тридцаткой и передачами — стояла на гривенниках, которые Зуб каждый день собирал в буфете с таких, как Женя. Сухой это знал. Люди всегда знают, на чём стоит их правда. Просто не смотрят вниз.

— А у Шатуна, — сказал Сухой, — не братья. У него зона. Он её сюда с собой принёс. Там не братья — там масть. Кто сильней, тот и прав. Он моих на мосту бьёт не за дело. Для порядка. Чтоб боялись. А боятся — это не уважают.

Он помолчал.

— Корону мне испортил. Мишку на мосту положил. И ждёт. — Он посмотрел на побелённую стену, будто сквозь неё был виден мост. — Весной было так же. Один в один. Сначала нашего на мосту. Потом сбор. Потом — менты. Шатун не дурак. Он знает, что я знаю. И всё равно ждёт. Значит, у него есть что-то, чего у меня нет.

Он был прав. У Шатуна было то, чего не было у Сухого. Я подумал, что знаю, что это. И что Сухой тоже мог бы это знать, если бы повернул голову.

— Так а чё ждать-то, Ильдар? — сказал Лом. Он перестал улыбаться и подался вперёд. — Ну сколько можно? Пацаны уже не понимают. В пятницу соберёмся — и за мост. Клуб ихний разнесём, Шатуну хату...

— Не гони, Валер.

— Да я не гоню! Я говорю — уважать перестанут. Уже вон у ларька говорят, что ты...

— Не гони, — повторил Сухой. — Весной уже собирались.

Лицо у Лома на секунду стало пустым, как окно, в котором выключили свет. Потом свет включился, и Лом снова улыбнулся — шире, чем нужно.

— Ну да, — сказал он. — Ну да.

Сухой повернулся ко мне.

— А ты чё скажешь? Ты ж у нас умный. Газеты читаешь.

Лом сидел у него за правым плечом. Весь вечер. Наверное, он сидел там всю жизнь.

Всё, что я скажу в этом подвале, к утру может оказаться за мостом. Если я скажу «стучит» — оно окажется там вместе со мной. Если промолчу — Сухой решит, что я пустой.

— Я бы сначала посмотрел, кто зовёт, — сказал я.

— Депошные зовут, — сказал Лом. — Кто ж ещё.

Он ответил раньше, чем Сухой успел подумать. Люди отвечают раньше, чем их спросили, когда боятся, что ответят без них.

— Шатун зовёт, — сказал Сухой. — Это и без тебя ясно.

Он выбрал ответ, который ему был удобнее. Как Бурый у будки.

— Ничьих не бывает, малай, — сказал Сухой. — Ничей — это знаешь кто? Это когда тебя бьют, а за тебя никто не встанет. Ни здесь, ни в армии. В армии — особенно.

На слове «армия» он затянул бинт на колене так, что побелели костяшки. Армия у него была позади. Значит, думал он не о своей.

Младший у него, Азат, весной пойдёт. Фания плачет. Это сказала Галия-апа за чаем, неделю назад.

— Ты думаешь, ты сильный, — сказал Сухой. — Может, и сильный. Не моргаешь. Только сильный один — это до первой толпы. Против шестерых никто не стоит. Ни Шатун, ни я. Ни ты. — Он помолчал. — У меня за спиной сорок пацанов. Вот и будь сорок первым.

Он сказал это просто, как предлагают сесть.

— Пришивайся. Не в скорлупу — сразу в супера. Рамиль слова не скажет, я сам с ним поговорю. Мне такие нужны. Которые думают, прежде чем дёргаться.

Лом хмыкнул: шутку он понял по-своему. Я понял её по-другому. Сухой сказал это при Ломе так, что понял только я.

— И сеструха твоя, — сказал Сухой. — Третий «А», белобрысенькая. Её никто пальцем не тронет. Ни наши, ни депошные, ни чайковские. Будет ходить под Кирпичкой, как под Кремлём.

Вот оно.

Он не угрожал. Он вообще не повысил голоса. Он просто положил передо мной цену, и цена была — Настя. Защита, которую он предлагал, была настоящей. Лучшей, какую мне могли предложить в этом городе. Он узнал про Настю раньше, чем позвал меня. И на обороте этой фразы, как на обороте открытки, было написано другое: если ты не наш — она не под нами.

Я посчитал.

Если я пришьюсь, Кирпичка будет за меня. А Депо — против. Не против меня — против кирпичного. А у кирпичного есть сестра, третий «А», и Депо узнает об этом так же быстро, как узнал Сухой. Война, которая сейчас идёт у нашего подъезда, станет войной в нашем подъезде.

Если я пришьюсь, то в ту пятницу, когда Сухой наконец не выдержит и соберёт пацанов в этом подвале, я буду в этом подвале. И в восемь, ровно в восемь, я выйду отсюда в «бобик» вместе со всеми, а мама будет читать про меня в протоколе.

И ещё одно. Защиту, которую тебе дали, у тебя могут забрать. Тот же, кто дал. В любой день, за любое «нет». Я не мог отдать Настю под чужое слово. Даже под хорошее.

— Нет, — сказал я.

— Чё? — сказал Лом.

Сухой не переспросил. Он смотрел на меня спокойно, как смотрят на задачу, которую решили и получили не тот ответ.

— Тогда ты чушпан, — сказал он. — А чушпан платит.

— Я не плачу.

* * *

Лопата за стеной перестала скрести. Дед, наверное, закрыл топку. В подвале стало так тихо, что я услышал, как гудит под потолком лампочка в сетке.

Потом ступеньки у меня за спиной загудели.

Я не обернулся. Затылок считал за меня. Четвёртая. Третья. Серый спускался медленно, всем весом на каждую ступеньку, — так спускаются люди, которым незачем торопиться: они всё равно успеют.

Лом встал. Улыбка у него наконец кончилась.

Я считал.

Серый: под сто килограммов, кирзачи, медленный. На лестнице его вес работал бы против него, но он уже не на лестнице. Лом быстрый, но драться не любит: костяшки у него гладкие, как у пианиста, ни одной сбитой. Лом будет держать. Бить будет Серый. Сухой не встанет. Ему не надо.

Второй выход — за брезентом, через кочегарку, мимо деда, к двери на крюке. Двенадцать шагов. Я сосчитал их, пока Лом ходил за кипятком.

Бегущего бьют. Это первое, что я узнал про улицу, задолго до Казани. Ничей, который убежал через кочегарку, останется ничьим на один вечер. Потом он станет чушпаном навсегда.

Драться я тоже не мог. Здесь не было гололёда. Не было ямы, будки, наледи, сумерек. Был бетонный пол, три лампочки и Сухой, который видел, как не качнулся чай. Здесь нельзя было поскользнуться. Здесь можно было только драться по-настоящему — и выйти отсюда челове-

ком, который в подвале у Сухого положил Серого. Наутро об этом знала бы вся Кирпичка, к обеду — Депо, к вечеру — капитан Ахметов.

Оставалось третье.

Я разжал руки. Опустил плечи. Расслабил шею — так её расслабляют перед ударом: напряжённое тело ломается, расслабленное гнётся. Предплечья к рёбрам, подбородок вниз. Синяки сходят за неделю. Мама увидит — скажу, что упал. Падать в этом городе у меня получалось хорошо.

Женины пятнадцать копеек лежали в правом кармане. Ровно столько стоила прописка. Я не стал их доставать.

Сухой смотрел на мои плечи. Он видел, что я делаю. Он, наверное, единственный в этом подвале видел: я не готовлюсь драться. Я готовлюсь к тому, что меня будут бить.

— Серый, — сказал он негромко и поднял два пальца.

Шаги у меня за спиной остановились. Серый встал внизу — я чувствовал его спиной, как чувствуют печку.

— Ты чё, — сказал Сухой, — бить себя дашь?

— Если надо.

— А платить не будешь.

— Не буду.

— Почему?

— Синяк проходит за неделю, — сказал я. — А заплатишь один раз — будешь платить всегда.

Сухой помолчал.

— А пришиваться почему не хочешь? Пришился бы — платить бы не пришлось.

— Потому что ты скажешь: идём за мост. А я не пойду. И ты меня отошьёшь — через своих. — Я подумал. — Я бы отшился за неделю. Может, за две. Зачем тебе лишняя работа?

Лом открыл было рот, но Сухой даже не посмотрел в его сторону, и Лом закрыл.

— И потом, — сказал я, — я пробовал быть чушпаном. У меня плохо получается.

Сухой засмеялся.

По-настоящему, в первый раз за вечер: запрокинул голову и засмеялся в потолок, в корону о трёх зубцах. Через секунду засмеялся и Лом — громко, с облегчением, хотя ничего не понял. Он смеялся, потому что смеялся Сухой. Серый за моей спиной не издал ни звука.

— Ярар, — сказал Сухой, отсмеявшись. Вытер глаза запястьем. — Ярар. Слушай сюда.

Он наклонился вперёд, упёр локти в колени.

— Платить ты не будешь — ладно. Мои тебя не тронут, я скажу. Но и под нами ты не ходишь. Положат тебя на мосту — я не впишусь. Снимут с тебя шапку на Чайке — не впишусь. Хорошая шапка, кстати.

— Папина.

— Береги. — Он кивнул. — Ничей — вот и будь ничей. Посмотрим, долго ли.

— Ильдар, — сказал Лом. Голос у него был осторожный. — Пацаны не поймут. Чушпан — и не платит? Ну как это?

— Поймут, — сказал Сухой. — Скажу: за мамку его. Она Мишку шила. Санька говорит, чаем поила. Это пацаны поймут.

Я ничего не сказал.

Мама шила Мишку не для Кирпички. Она шила бы и депошного, и чайковского, и самого Сухого — тем же швом, теми же руками, и так же налила бы потом чаю из термоса. Но Сухой поставил её туда, где ей было не место. На улицу. Не со зла — по-людски. Это был лучший выход, какой он мог мне дать. И отказаться от него я не мог, не загнав его в угол перед Ломом и Серым.

Семья — вне доски. Это правило было у меня главным задолго до Казани. А теперь, на одиннадцатый день в Казани, мама стояла на доске. Не моим ходом. Но стояла.

— Я тебя читать не буду, — сказал Сухой и откинулся к стене. — Улица сама тебя прочитает.

* * *

Я встал, надел шапку, взял книгу. Серый отступил с нижней ступеньки ровно на столько, чтобы я мог пройти, и ни сантиметром больше.

Лом догнал меня у ступенек и хлопнул по плечу — от души, по-приятельски, как будто мы с ним только что вместе выиграли в домино.

— Ну, вологодский! Повезло тебе. Ильдар сегодня добрый.

— Пошли, провожу, — сказал Сухой и снял с гвоздя телогрейку.

— Ильдар, ты чё — сам? — удивился Лом.

— Подыши, Валер. Чайник выключи.

Наверху было минус двенадцать и ни облачка. Луны не было. Звёзды стояли над котельной низко и густо, как в деревне, и дым из трубы уходил прямо в них. После подвала мороз схватил мокрое колено, как клещами.

У коробки под фонарём стоял мальчишка в болоньевой куртке — на Кирпичке такие не носят. Когда мы поднялись, он посмотрел на часы — на часы, в двенадцать лет — и не торопясь пошёл в сторону Чайки.

— Студентовский, — сказал Сухой. — Время засекает. Пусть засекает.

Я тоже посмотрел на часы. Девятнадцать сорок семь. Студенту было интересно не что, а сколько: сколько минут Сухой потратил на ничьего. Из этой цифры можно понять больше, чем из любого пересказа. На месте Студента я бы тоже засекал.

Сухой постоял на верхней ступеньке, глядя на наш дом. На шестой этаж.

— Брат у меня весной в армию идёт, — сказал он.

— Азат.

Он покосился на меня.

— Все всё знают.

— Галия-апа.

— А. — Что-то похожее на улыбку. — Галия-апа.

Он помолчал. Пар от его дыхания поднимался к лампочке.

— Он у меня не мотается. Я не пустил. Сказал: увижу с пацанами — ноги вырву. Он и не ходил. В техникуме учится, на радиотехника. Отличник. Очки носит. В шахматы играет, как ты. — Он сунул руки в карманы телогрейки. — В армии без своих — знаешь, что бывает? Я видел. Первые полгода... — Он не договорил. — Там у него своих не будет. Там он будет ничей.

Вот оно.

Он позвал меня не из-за Бурого. Не из-за пятнадцати копеек и не потому, что я мог оказаться засланным. Он позвал меня, чтобы посмотреть на ничьего. И отпустил не потому, что я его переспорил. Ему нужно было знать, может ли ничей выжить. Не здесь, не на Кирпичке. В казарме, под Читой или под Магдебургом, весной восьмидесятого. «Улица сама тебя прочитает» — это было не про меня. Это был вопрос, на который он сам не знал ответа и боялся его узнать.

Брат у него носил очки. Как Женя.

Он делал людей из чужих сопляков. А своего брата к улице не подпустил.

Мы пошли к гаражам. Снег скрипел. Рыжая собака у будки подняла голову, увидела Сухого — и застучала хвостом по снегу. Увидела меня — и зарычала, негромко, для порядка.

— Своих не лает, — сказал Сухой. — Чужих лает. Ты пока чужой.

— А в ту ночь? — спросил я.

Он понял, про какую ночь.

— В ту ночь сторож пьяный спал. А собаку колбасой прикормили. Депошные умеют. — Он сплюнул в снег. — Весной тоже так было. Слыхал, что весной было?

— Слышал.

— В марте. Меня ещё не было, я в мае пришёл. Депошные нашего на мосту положили — как Мишку. Пацаны собрались здесь, в пятницу, идти разбираться. А в восемь — ровно в восемь, минута в минуту — менты. Три машины. Восьмерых взяли, двоих посадили. Петьку Конева — на три года. — Он смотрел на будку. — Менты время знали. Кто-то стукнул. Я всю весну по дням разобрал. Сторожа тряс. Соплю вашего — он всем продаёт, мог и ментам. На Рамиля даже думал: он в ту пятницу опоздал. Все чистые.

Он помолчал.

— Валерка тогда за старшего был. Не уберёг. До сих пор себя грызёт — я ж вижу. Я ему говорю: не ты виноват. Кто-то стукнул. Найду кто — тогда и перестанешь грызть. А он...

Он не договорил. Махнул рукой.

— Найду, — сказал Сухой. — Ты везде ходишь. Глаза у тебя есть. Увидишь чего — скажешь?

— Я ничей.

— Ничей, ничей... — Он почти улыбнулся. — Ничей тоже может сказать. По-соседски.

— По-соседски — может быть, — сказал я.

Это не было обещанием. Он это понял. И, кажется, это было ему понятнее обещания.

— Иди, — сказал Сухой. — Восемь скоро. Мамка у тебя на смене, батя ждёт.

Он знал, что мама на смене. Конечно, знал.

Я пошёл к подъезду. На крыше крайнего гаража свешивались через край валенки. Конечно.

* * *

Дома пахло жареной картошкой.

— Макс! — Настя выскочила в прихожую в ночной рубашке, понюхала воздух и сморщила нос. — Ты пахнешь, как наш поезд!

— Через котельную шёл.

— Библиотека с паровозом, — сказал отец с кухни. — Ну, как Тургенев?

— Базаров умер.

— Ну, старик, это я тебе и без библиотеки мог сказать. — Отец засмеялся. — Картошку будешь?

— Буду.

Пальто я повесил на батарею в ванной — просушить и проветрить. И увидел.

На левом плече, на тёмно-сером драпе, синели четыре пальца. Отчётливо, как на дактилоскопической карте в кабинете следователя. Лом хлопнул меня по плечу на прощание — «Повезло тебе, Ильдар сегодня добрый» — и оставил на мне свой мел.

Я попробовал стряхнуть. Школьный мел стряхивается. Этот — нет: бильярдный мел делают так, чтобы держался. Я намылил щётку и потёр. Пальцы побледнели, расплылись, но не сошли. Остался синеватый след. Его было видно, только если знать, куда смотреть.

Женины пятнадцать копеек я переложил из пальто в портфель. Завтра отдам. Не понадобились.

«Не уберёг».

Я тёр плечо и слушал, как это слово звучит у меня в голове голосом Сухого.

Не «сдал». Не «проболтался». «Не уберёг» — так говорят о том, кто проспал, недосмотрел, опоздал. О том, кого жалеют. Так говорят о вратаре, который пропустил шайбу, а не о том, кто открыл ворота.

Сухой полгода искал, кто открыл ворота. Он перебрал сторожа, Кольку, Рамиля. Перебрал всех, кто в ту пятницу мог знать время. Всех, кроме человека, который это время назначил.

Он не был слепым. Он видел больше, чем кто-либо в этом районе: он увидел полсекунды, на которые я опоздал испугаться. Он видел, что Лома грызёт. Он только не спрашивал, что именно.

А собака, которая лает на кошку и на ветер, колбасу возьмёт у кого угодно. И облает его, когда доест. На своих не лают не потому, что сыты.

Я мог сказать ему это там, у будки. Несколько слов. Он бы не поверил. Хуже — он бы поверил на секунду, а потом посмотрел бы на меня так, как смотрят на того, кто плюнул на могилу его отца. Человеку, который не хочет видеть, бесполезно показывать. Правду ему можно только однажды положить под ноги так, чтобы её нельзя было обойти. Для этого мне нужно было больше, чем синий мел.

Есть версия, в которой Лом не уберёг, — и в ней Сухой потерял восьмерых пацанов. И есть версия, в которой Лом сдал, — и в ней Сухой теряет того, кто в феврале пришёл с ломом копать могилу его отцу.

Неделю назад у будки сторожа Бурый выбрал версию, в которой он не проиграл. Я тогда подумал, что это не глупость, а защита. Что люди почти всегда так делают.

Я не думал, что так делают и умные.

Сухой тоже выбрал гололёд.

Глава 6. Ровные четвёрки

Среда, 21 ноября 1979 года

Пятнадцать копеек вернулись к Жене в восемь двадцать утра. Часы ушли от него в четырнадцать десять.

Между этими двумя цифрами уместилась вся разница между тем, что я умел, и тем, что я понимал.

* * *

Монету я положил ему на парту до звонка, под край учебника, тем же движением, каким он положил её мне.

— Не понадобились, — сказал я.

Женя посмотрел на монету. Потом на меня. Потом снова на монету — так он смотрел на схему из журнала «Радио», когда в ней что-то не сходилось.

— Ты не заплатил? — спросил он шёпотом.

— Нет.

— И тебя не...

— Нет.

Он взял монету и долго держал её в кулаке, не убирая в карман. Будто проверял, та ли.

— Ничего не понимаю, — сказал он наконец.

— Я тоже, — сказал я. Это была неправда, но так ему было проще.

К большой перемене понимали все.

Колька работал быстро. Новость, которую он ночью унёс с крыши крайнего гаража, к утру разошлась по Кирпичке, к обеду — по школе, и, как всякая новость, по дороге обросла подробностями. Сухой вологодского отпустил. Сухой с вологодским сорок минут разговаривал. Вологодский Сухому чуть ли не в ноги кланялся. Вологодский Сухому сказал что-то такое, что Сухой ржал. Сухой отпустил его за мамку: мамка у вологодского в травме работает, Мишку Трофимова с того света вытащила.

Последняя подробность была единственной, которую запустили нарочно. И единственной, в которую поверили все.

Люди верят тому, что им понятно. «За мамку» было понятно всем: врачиха пацана зашила, Сухой долг вернул, всё по-людски. А вот «Сухой ржал» не понимал никто, и эту версию к вечеру потеряли.

В буфете Зуб прошёл вдоль столиков, как всегда. Он брал у восьмиклассников по пятаку, у девятиклассников — по гривеннику, Женины десять копеек снял с ладони, не глядя. Дошёл до меня — и прошёл мимо. Не остановился, не посмотрел. Словно моего места за столиком не было вовсе.

Это заметили. Шестеро из нашего класса и двое из «А». Восемь пар глаз, которые теперь знали: Авоська не платит, и ему за это ничего не бывает.

Зуб это тоже знал. Нос у него был уже не жёлто-зелёный, а просто жёлтый, но, когда он проходил мимо, нос побагровел вместе со всем лицом. Сухой сказал «не трогать», и Зуб не трогал. Но в том, как он прошёл мимо, было больше, чем если бы он меня ударил.

Я отметил это и пошёл на физику. Злость, которой некуда деться, всегда куда-нибудь девается. Я знал это. Но не подумал, куда.

* * *

В три часа я пошёл за хлебом — к двум привозили свежий.

Обратно я поднимался пешком. Лифт я не люблю: в нём нет второго выхода. Между третьим и четвёртым этажом я услышал, что наверху кто-то есть.

Шаги, быстрые, лёгкие, через ступеньку. На пятом остановились. Потом — короткий жестяной скрип: так скрипит дверца электрощитка на площадке, я слышал её каждый день. Шорох. Снова скрип. Хлопнула дверь квартиры, лязгнул замок.

На пятом этаже три квартиры смотрят на площадку, а четвёртая — за углом. Хлопнула та, что слева. Из её форточки неделю назад кричали «Во-о-ва! Зуев!».

Я поднялся на пятый. Дверца щитка была закрыта. Трёхгранный замок на ней давно сломали, и дверцу держал согнутый гвоздь, продетый в петли. Утром, когда мы с Настей шли в школу, шляпка гвоздя смотрела вниз. Сейчас она смотрела вверх.

Я поднялся к себе и положил хлеб на стол.

Это был просто факт. Пацан с пятого этажа зачем-то открывал щиток. Фактов за день у меня набиралось штук двести, и большинство так и оставались фактами.

Этот остался фактом до утра.

* * *

Четверг, 22 ноября

Женя трогал запястье.

Он делал это весь первый урок: правой рукой, через манжету, там, где обычно под рукавом лежали часы циферблатом внутрь. Трогал, вспоминал, что их нет, убирал руку. Через три минуты трогал снова. Так трогают языком дырку от зуба.

Я дождался перемены.

— Где часы?

Женя сделал вид, что не слышит. Потом — что не понимает. Потом снял очки и стал протирать их краем пиджака, хотя они были чистые.

— Потерял, — сказал он.

— Где?

— За школой. Вчера. — Он надел очки. — У трансформаторной будки.

— Кто?

Он молчал.

— Женя.

— Зуб, — сказал он одними губами. — И малой какой-то с ним. Из скорлупы. Я из радиокружка выходил. Он говорит: «Скажи, который час». Я сказал. Он говорит: «Покажи». Я показал. — Женя смотрел в парту. — Он снял и сказал: «Передай Авоське спасибо».

Вот куда девается злость, которой некуда деться.

Зуб не мог тронуть меня — Сухой сказал. Он не мог тронуть даже мою шапку. Но рядом со мной сидел человек в очках, обмотанных изолентой, которого можно было трогать сколько угодно. Женя заплатил за мою свободу. Не пятнадцать копеек — дороже.

— Сколько стоят? — спросил я.

— Сто двадцать. — Женя сглотнул. — Папа из Сургута привёз. Летом. Он там на вахте, на нефти. Он маме... Он сказал — это чтобы я знал, сколько времени, пока его нет.

Он сказал это и сам испугался, что сказал. Снова снял очки.

— Маме я сказал, что в кружке оставил. На ремонт. Батарейка. — Он помолчал. — Она поверила. Пока.

— Ты Бурому говорил?

— Ты чё. — Женя впервые посмотрел на меня. — Бурому скажешь — Зуб скажет, что я вру. А потом мне... Это же Зуб. Он не для Бурого взял. Он для себя.

Женя был умнее, чем выглядел. Он знал правила улицы лучше меня: он прожил по ним три года, по десять копеек в день.

Я отвернулся к окну. В окне были гаражи, будка, рыжая собака. Пятнадцать копеек вернулись к Жене. Часы — нет.

Я вспомнил гвоздь на щитке, шляпкой вверх.

* * *

На третьем уроке у меня была политинформация.

Я рассказал про Иран: в Тегеране студенты захватили американское посольство и держат заложников, а прогрессивная общественность осуждает политику американского империализма на Ближнем Востоке. Потом про Кампучию: советский народ помогает братскому народу преодолеть последствия полпотовского режима. Потом про Олимпиаду: до открытия Игр двести сорок с чем-то дней, в Москве сдают новые объекты. Четыре минуты. Три новости. Ни одной цифры, которой не было в «Правде».

Нина Аркадьевна сказала «хорошо, Белозёров, садись» и поставила мне в журнал четвёрку.

Лиля с первой парты обернулась и посмотрела на меня — недолго, секунду. Так смотрят на часы, чтобы проверить, идут ли они. Я сделал вид, что не заметил.

* * *

Спортзал был в пристройке, одноэтажной, с высокими окнами, забранными сеткой. Пахло пылью, резиной, мастикой, которой натирали пол, и немного — раздевалкой. Шведская стенка, канат, кольца, два коня и козёл с потёртой кожей. Над дверью висел лозунг «Готов к труду и обороне!», и у «обороне» отклеилась последняя буква.

Пал Палыч стоял посреди зала в синем шерстяном костюме с белыми полосками, со свистком на шнурке. Лет пятидесяти, грузный, с носом, который ломали столько раз, что он перестал быть носом и стал рельефом. Уши мятые, как у Марселя. Двигался он медленно, но, когда кто-нибудь с разбегу врезался в козла криво, оказывался рядом раньше, чем тот долетал до мата. Я засёк это на разминке и запомнил: Пал Палыч был быстрее, чем выглядел. Как я.

— Опорный прыжок, — сказал Пал Палыч. — Ноги врозь. Толчок, руки, отталкиваемся, приземляемся. Не на голову. Голова у вас одна, у некоторых — и та запасная. Хайруллин, сидишь. Колено.

Бурый сел на скамейку и вытянул ногу. Зуб, который прыгал третьим, перелетел козла с запасом и приземлился, как кошка. Он был лёгкий и вёрткий, и прыгать у него получалось лучше, чем всё остальное.

Я прыгал девятым.

Подтягивания у меня в этой школе были восемь — ровно на четвёрку. Шестьдесят метров — восемь и девять, тоже на четвёрку. С козлом нужно было то же самое. Четвёрку ставят за прыжок с ошибкой: недотянул руки, задел козла, приземлился с шагом. Я решил задеть.

Разбег. Мостик. Толчок я сделал на четверть слабее, чем надо, руки поставил на сантиметр ближе к себе. Козёл должен был поймать меня коленом и чуть развернуть — так, чтобы я приземлился боком, неуклюже, с шагом.

Козёл поймал меня не коленом, а голенью, и развернул сильнее, чем я рассчитывал. Мат кончился раньше, чем я долетел. Под ногами оказался голый крашеный пол.

Дальше я не решал. Тело решило за меня.

Подбородок — к груди. Руку не выставлять: выставленную руку ломают. Плечо — вниз, по диагонали, к противоположному бедру. Перекат. Пол прошёл по спине, как по колесу. Я оказался на ногах раньше, чем успел подумать, что упал.

Второй раз за три дня тело сказало правду раньше меня.

Я тут же исправился: схватился за плечо, сморщился, сел на пол. Мальчишки заржали. Зуб громче всех.

— Авоська опять поскользнулся!

— Тихо, — сказал Пал Палыч.

Он подошёл и посмотрел на меня сверху. Не на плечо, за которое я держался. На пол там, где я перекатился.

— Цел?

— Да. Плечо немножко.

— Немножко, — повторил Пал Палыч. — Иди сядь. Следующий.

После урока, когда все побежали в раздевалку, он сказал, не повышая голоса:

— Белозёров. Останься.

Мы остались вдвоём в пустом зале. Пал Палыч сел на козла, как на табуретку. Козёл скрипнул.

— Ты упал правильно, — сказал он.

— Я часто падаю.

— Кто часто падает, тот выставляет руку. — Он показал свою правую: кисть у него была кривая, костяшка на мизинце вбита внутрь. — И ломает. Я двадцать лет на ринге и в зале. Я видел, как люди падают. Так, как ты, падать учат. Года три. Через плечо, голову убрал, руку не выставил, встал раньше, чем лёг. — Он помолчал. — Где учили?

— Нигде.

Пал Палыч кивнул, будто я сказал именно то, что он ожидал.

— Подтягиваний — восемь, — сказал он. — Шестьдесят метров — восемь и девять. В длину — четыре десять. Норматив на четвёрку для девятого класса — восемь, восемь и девять, четыре десять. Ты знаешь нормативы наизусть, Белозёров?

Я молчал.

— Я не спрашиваю, зачем, — сказал Пал Палыч. — Это не моё дело. Хочешь быть серединкой — будь. Только середину ещё найти надо. Её случайно не находят.

Он посмотрел в окно, забранное сеткой. За окном был школьный двор, а за двором — край Кирпички.

— У меня при ДК секция была, — сказал он. — Бокс. Двенадцать лет. Знаешь, кто у меня занимался? Гимадиев Ильдар. Сафин Марсель. Хайруллин тоже ходил, пока колено не порвал. — Он потёр кривую кисть. — Я их учил, чтоб они сдачи давали. А они научились первыми бить. Секцию в прошлом году закрыли. Сказали — контингент неблагонадёжный.

Он слез с козла.

— Я тебя в секцию звать не буду, — сказал он. — Нет её. И тебе не надо, это я вижу. — Он подошёл к двери и обернулся. — Только запомни одно. Кто долго поддаётся, тот однажды забудет поддаться. В самый неподходящий момент. Тело — оно не дурак. Ему надоедает.

— Я запомню.

— Иди, Белозёров. Плечо не забудь потирать. При всех.

* * *

Вечером в подъезде, на двери у почтовых ящиков, появилась бумажка. Её приклеили хлебным мякишем, и мякиш ещё не засох.

«Уважаемые жильцы! 23 ноября с 10.00 до 15.00 будет проводиться профилактический осмотр электрощитков. Возможны отключения электроэнергии. ЖЭК № 4».

Я прочитал её дважды. Потом поднялся на пятый этаж.

На площадке никого не было. Из-за левой двери бормотал телевизор и пахло жареной рыбой. Я вынул гвоздь из петель щитка — бесшумно, придерживая дверцу пальцем, — и открыл.

Внутри было то, что бывает в щитках: счётчики, четыре штуки, по одному на квартиру, с крутящимися алюминиевыми дисками; пробки; провода в пыльной оплётке. И ещё — за нижним счётчиком, в углу, там, куда не дотянется рука электрика, если он не ищет нарочно, — свёрток в клетчатом носовом платке.

Я не стал его разворачивать. Я и так знал, что там. Сквозь платок прощупывался прямоугольник с ремешком.

Я закрыл щиток, вставил гвоздь — шляпкой вверх, как было, — и поднялся к себе.

Можно было забрать часы сейчас. Это было бы проще всего и хуже всего.

Зуб проверит щиток — сегодня вечером или завтра утром. Найдёт пустой угол. И начнёт думать. Думает Зуб плохо, но кое-что он сосчитать сумеет: часы взял он, взял у Очкарика, сказал «передай Авоське спасибо», а Авоська живёт этажом выше и ходит пешком. Через час Зуб будет знать, кто. Через два — Женя будет лежать у трансформаторной будки, и не за часы, а за то, что часы вернулись.

Значит, часы должны пропасть так, чтобы Зуб никогда не подумал на меня. И чтобы не подумал на Женю. И чтобы, подумав на кого-то третьего, он не смог ни с кем об этом заговорить.

Бумажка у почтовых ящиков давала мне третьего.

С десяти до трёх электрики ЖЭКа откроют каждый щиток в подъезде. Пыльные углы, крутящиеся диски, пробки. Зуб вернётся из школы, откроет свой щиток — и увидит, что в нём побывали чужие руки. Мел на счётчиках, свежие пломбы, новые пробки. И пустой угол.

Подумает он на электриков. Больше не на кого.

И он ни с кем не сможет об этом заговорить. Часы он снял не для Бурого. Не для общака, не для Лома, который по пятницам стоит с сумкой у двери. Он снял их для себя и спрятал от своих же — в щитке на площадке, а не в качалке. На Кирпичке такое имеет название, короткое, в пять букв. Сухой, который с общака «ни копейки», за такое не бьёт. За такое отшивают так, что потом не пришьёшься ни к одной улице в городе.

Пожаловаться на электриков Зуб не может. Сказать «у меня спиздили часы, которые я спиздил и спрятал от вас» — тоже.

И ещё одно. ЖЭК № 4 — тот самый, где работает Фания-апа. Мать Сухого. Зуб этого не может не знать: на Кирпичке это знает каждая собака. Электрик, который нашёл в щитке часы за сто двадцать рублей, мог их просто прикарманить. А мог рассказать в конторе. А в конторе сидит Фания-апа.

Зуб будет бояться. Не меня. Сухого. Это правильный страх: он держит дольше.

Я лёг спать в десять и заснул сразу. Угольный дым в эту ночь мне не мешал.

* * *

Пятница, 23 ноября

В пять сорок пять я спускался по лестнице в трико и кедах, как каждое утро.

Подъезд спал. Где-то наверху капала вода в мусоропроводе, на третьем этаже кто-то храпел так, что было слышно через дверь. Лампочка на пятом не горела: её выкрутили ещё до нас.

Щиток Зуб открывал вчера в восемнадцать сорок. Я слышал скрип из своей прихожей. Проверил, закрыл, ушёл. По утрам он щиток не трогает: по утрам Зуб опаздывает, и мать гонит его по лестнице криком до самого первого этажа. Значит, следующий раз он откроет его сегодня после школы. После электриков.

Гвоздь. Дверца. Нижний счётчик. Свёрток в клетчатом платке был тёплым от счётчика и лёгким. Я развернул платок в темноте и на ощупь проверил: корпус, ремешок, кнопка сбоку.

Платок я забрал вместе с часами. Можно было оставить его в углу, пустой. Но электрик, который находит в щитке чужие часы, не разворачивает их на площадке и не складывает потом платочек обратно. Он берёт то, что нашёл, вместе с тем, во что оно завёрнуто, и уходит. Оставленный платок — это уже не электрик. Это кто-то, кто хотел, чтобы подумали на электрика.

Гвоздь — шляпкой вверх. Три круга вдоль забора. Подтягивания, отжимания, медленная гимнастика. Часы Жени всё это время лежали у меня в кармане трико и не весили ничего. Сто двадцать рублей. Папа из Сургута. Чтобы знать, сколько времени, пока его нет.

Рыжая собака облаяла меня на первом круге и замолчала на третьем.

* * *

Тир был в подвале школы, под спортзалом: длинный бетонный коридор, побелённый, с мешками песка в дальнем конце и с лампами в железных колпаках над мишенями. Стрелять полагалось лёжа, с матов, из пневматических винтовок — облезлых, с деревянными ложами,

отполированными тысячами щёк. Десять метров. Пять выстрелов. Пули — свинцовые грибки в жестяной коробочке, по одной на выстрел, Семён Ильич выдавал их сам, пересчитывая вслух.

Семён Ильич был маленький, сухой, с орденскими планками на пиджаке в три ряда. Голова у него чуть заметно подрагивала — контузия, — и говорил он громко, как говорят люди, которые плохо слышат с одной стороны. Нас он называл «сынки». Девочек — тоже «сынки», но девочки стреляли в другой день.

— Сынки! Приклад — в плечо, не в ключицу. Дыхание — выдох, задержал, спуск. Спуск не дёргать! Спуск — гладить. Как кошку. — Он показал, как гладят кошку указательным пальцем. — Кто дёрнет — тот промажет. Кто промажет — тот на фронте... ну, ладно. Хайруллин, давай.

Бурый лёг на мат, вытянув больную ногу, и выстрелил пять раз подряд — быстро, не задумываясь. Семён Ильич сходил к мишени, принёс, поднёс к глазам.

— Сорок четыре! — объявил он. — Хайруллин, у тебя глаз! Тебе бы в армии — в снайпера.

Бурый покраснел. Не от злости, впервые за всё время, что я его знал. Он лежал на мате, держал винтовку, и лицо у него было такое, какое бывает у человека, которого похвалили за что-то настоящее.

Зуб выбил двадцать один и сказал, что винтовка кривая.

Я стрелял седьмым.

После подвала котельной я стал осторожнее. Ровное — тоже подпись. Если положить пять пуль кольцом вокруг десятки, на одинаковом расстоянии, это прочитает любой, кто умеет стрелять: так мажут только те, кто не мажет. Мне нужны были не ровные промахи, а настоящие. Такие, какие бывают у человека, который стреляет средне: одна хорошая, одна дрянная, три так себе, и все в разные стороны, без всякого порядка.

Порядок без порядка — самое трудное, что я умею.

Девять — чуть правее центра. Шесть — низко, будто дёрнул спуск. Восемь. Пять — высоко слева, как бывает, когда торопишься. Восемь. Тридцать шесть.

Семён Ильич принёс мишень, поднёс к глазам, подержал.

— Тридцать шесть. Четыре, Белозёров. — Он посмотрел на меня поверх мишени. — Дышишь хорошо. А спуск дёргаешь. Гладить надо.

— Я буду гладить.

— Будешь. — Он кивнул и положил мишень в стопку. Потом, уже отвернувшись, сказал не мне, а всем — громко, как говорил всё: — А вообще, сынки, хорошо стрелять — не главное. На фронте, кто хорошо стрелял, того первым и убивали. Снайпера видно. Кого видно — того и убивают.

Мальчишки засмеялись: решили, что это шутка.

Я не засмеялся. Я подумал, что Семён Ильич, сам того не зная, только что сказал вслух всё, по чему я жил.

* * *

На большой перемене Женя вышел в коридор — ему нужно было отнести журнал в учительскую, он был дежурный. Пенал остался на парте: деревянный, с выжженным парусником на крышке.

Я открыл его. Внутри лежали отвёртка, моток провода, две ручки, огрызок канифоли. Я положил часы под отвёртку, циферблатом вниз, и закрыл крышку. Три секунды. Танька Гурьева на соседнем ряду смотрела в зеркальце и ничего не видела. Больше в классе никого не было.

На литературе Женя открыл пенал, чтобы достать ручку.

Он замер. Рука застыла над пеналом, как над горячим паяльником. Потом он медленно, двумя пальцами, вынул отвёртку, положил на парту, посмотрел на то, что лежало под ней, — и закрыл пенал. Сидел минуту, не двигаясь. Потом повернулся ко мне.

У него за очками были мокрые глаза. Я этого не ожидал. Я много чего ожидал, а этого — нет.

— Как? — спросил он одними губами.

Я покачал головой: потом.

Потом было на лестнице, у окна, на том же месте, где три дня назад со мной разговаривал Бурый.

— Как? — повторил Женя.

— Нашёл.

— Где?

— Где лежало.

Женя смотрел на меня так, как смотрят на ответ в конце задачника, когда сам ответ понятен, а решение — нет.

— Зуб же... — начал он.

— Зуб не узнает. И тебя не тронет. — Я подумал. — Не носи их в школу. До Нового года. Маме скажи, что забрал из ремонта. Батарейку поменяли.

— Батарейку я и правда поменяю, — сказал Женя. Голос у него дрогнул и выровнялся. — Она садится. Там ток покоя большой, у этих светодиодных... — Он замолчал. Понял, что говорит не о том, и снял очки. — Макс. Я тебе...

— Ты мне ничего.

— Знаю, — сказал Женя. — Я просто так.

Он надел очки.

— Хочешь, я тебе приёмник соберу? Какой хочешь. Хоть на короткие волны. «Голос Америки» будешь ловить. Или Би-би-си. У меня схема есть, из «Радио», и детали почти все.

— Не надо.

— Я просто так, — повторил он упрямо.

Просто так. Я попробовал это посчитать. Женя возвращал мне не долг — он говорил, что долга нет. Он предлагал то единственное, что у него было, кроме пятнадцати копеек: свои руки, свои схемы, свою канифоль. Просто так. В этом городе за неделю мне ни разу никто ничего не предлагал просто так. Мне предлагали прописку, защиту, Госстрах и сорок первое место.

И тут же, в ту же секунду, я подумал о другом. О том, что человек, который умеет собрать приёмник на короткие волны, умеет собрать и кое-что ещё. Передатчик, например.

Я запретил себе об этом думать. Мне это почти удалось.

— Посмотрим, — сказал я.

Женя кивнул так, будто я сказал «да».

* * *

В четырнадцать сорок я вынес мусор.

Ведро было неполное, но мусоропровод на площадке между пятым и шестым этажом — единственное место в подъезде, откуда виден пятый, а тебя не видно. Свет на лестнице уже дали. Электрики ушли: на площадке пахло горелой изоляцией, а на счётчиках, я знал, остались меловые цифры.

Зуб стоял у открытого щитка.

Он стоял на цыпочках, засунув руку по локоть за нижний счётчик, и шарил там. Я видел его спину, школьный пиджак, который был ему велик, и шею, красную от натуги. Потом он вынул руку. Пустую. Посмотрел на неё. Снова сунул. Снова вынул.

На внутренней стороне дверцы мелом было написано: «Пр. 23.XI». И чья-то подпись закорючкой.

— Электрики, — сказал Зуб тихо. — Суки. Бля... Суки.

Он сказал это без злости. С ужасом. Тем голосом, каким говорят, когда понимают, что дальше будет хуже, а сделать ничего нельзя.

Я открыл крышку мусоропровода. Железо лязгнуло.

Зуб обернулся, увидел меня и захлопнул щиток так, что загудела вся площадка.

— Чё вылупился?

— Мусор выношу.

— Ну и неси, бля.

Я вытряхнул ведро и пошёл наверх. Зуб смотрел мне вслед, но смотрел не так, как смотрят на того, кого подозревают. Он смотрел мимо меня — вверх, в пролёт, в потолок. Туда, где на Кирпичке живут люди, которые знают, что ты спрятал от своих.

Вечером, в пятницу, у котельной был сбор. Я стоял у окна сбоку, без света. Зуб пришёл одним из первых, сунул что-то в сумку от противогаза, не глядя на Лома, и весь час простоял внизу, у самых ступенек, — там, где стоит скорлупа. Когда из подвала поднялся Сухой, Зуб отвернулся к стене.

Он выбрал электриков. Электрики были лучшей версией из всех, что у него были. В остальных ему было бы ещё хуже.

* * *

Суббота, 24 ноября

Контейнер пришёл.

Отцу сказали об этом на заводе в пятницу, и в субботу в восемь утра у подъезда стоял заводской бортовой ГАЗон, а за рулём сидел Наиль — в той же кожанке на цигейке и с той же папиросой, смятой гармошкой.

— Вологда! — закричал он, увидев отца. — Масло приехало? Масло — в Москву, а мебель — к нам!

Контейнерная площадка была на той стороне путей, за Депо. Пешком — через мост, пятнадцать минут. На машине — в объезд, через переезд, два километра по разбитой дороге вдоль складов. Отец сидел в кабине рядом с Наилем, я — у окна. Наиль рулил одной рукой и рассказывал отцу про рыбалку на Каме.

Посёлок Депо днём был другим, чем в прошлую субботу. Или я стал на него смотреть по-другому. Водонапорная башня. Клуб с гипсовым паровозом. Двухэтажки, жёлтые и розовые. И на углу, у железнодорожной поликлиники, — одноэтажная пристройка с белой вывеской: «Аптека № 9». А под вывеской, на стекле, табличка: «Дежурная. Круглосуточно». Над дверью горела лампа, хотя было светло.

— А почему круглосуточно? — спросил я.

— Железка не спит, — сказал Наиль, не оборачиваясь. — Сцепщику ночью палец оторвёт — ему куда? Сюда. У нас на Кирпичке аптека до восьми. А ночью — только тут. Во всём районе.

Я запомнил. Я всё запоминаю. Но некоторые вещи я запоминаю так, будто кто-то подчеркнул их красным.

У клуба стояли пятеро в отцовских бушлатах с медными пуговицами. Один посмотрел через стекло кабины — на Наиля, на отца, на меня. Что-то сказал остальным. Остальные посмотрели тоже.

Мы проехали.

* * *

Шкаф в лифт не влез.

Его несли на шестой этаж по лестнице втроём — отец, Наиль и я. Отец снизу, Наиль сверху, я сбоку, «на подхвате». Шкаф был дубовый, ещё дедов, и весил килограммов девяносто. Я старательно делал вид, что мне тяжело, — как с чемоданом на перроне две недели назад.

На четвёртом этаже отец остановился отдышаться, и Наиль, пока отец вытирал лоб, сказал мне тихо, через шкаф:

— Малай. Мой говорит — тебя Сухой отпустил. За мамку.

— Да.

— Это хорошо. — Наиль перехватил шкаф поудобнее. — Только ты не радуйся. Отпустил — значит, смотрит. — Он помолчал. — Сухой — ладно. Сухой — он свой, кирпичный, он хоть по правилам. А там, — он мотнул головой куда-то за стену, за пути, — там тоже смотрят. Видел, у клуба стояли?

— Видел.

— Вот. — Наиль кивнул отцу: — Взяли, абый! Раз-два!

До обеда мы перетаскали всё: шкаф, диван, два кресла, стол, табуретки, кровати, ящики с посудой и телевизор «Рубин», который отец нёс сам, как ребёнка, и никому не дал. Наиль от обеда отказался, от денег тоже, взял только трёхлитровую банку маминых солёных огурцов из Вологды и уехал, посигналив во дворе два раза.

Галия-апа зашла попрощаться: она уезжала к сыну в Челны до среды. Посмотрела на шкаф, на кресла, на «Рубин» и сказала, что теперь у нас «как у людей». Потом отдала маме ключ от своей квартиры — «цветы полей, кызым, в среду приеду» — и уехала на вечернем автобусе.

К вечеру квартира перестала пахнуть краской и чужой жизнью. Она пахла нашим шкафом, нашими книгами и нафталином из маминых ящиков. Отец настроил антенну, «Рубин» поморгал и показал концерт. Настя сидела перед ним на ковре, как перед костром, и смотрела концерт так, будто это было кино про неё.

Она два раза чихнула. Мама потрогала ей лоб и сказала: «Наглоталась пыли с этими ящиками».

* * *

В четыре я ушёл в библиотеку — сдать «Отцов и детей».

Лиля сидела в читальном зале у окна, за дальним столом, с тетрадями и учебником физики. Она подняла голову, когда я вошёл, — и не удивилась.

— Дома Марсель с друзьями, — сказала она, хотя я не спрашивал. — Магнитофон. «Бони Эм» с утра. Я больше не могу слышать про Распутина.

Я сдал книгу и сел за соседний стол. Библиотекарша посмотрела на нас поверх очков, с одобрением: двое детей в субботу в читальне. Это было почти как в кино.

Лиля дописала задачу и закрыла тетрадь.

— Я комсорг, — сказала она. — Я вижу журнал. Его на переменах оставляют на столе, а я ставлю отметки за политинформации.

— Я знаю.

— За две недели у тебя девятнадцать оценок. Все — четвёрки. Литература, алгебра, геометрия, физика, химия, история, английский, физкультура, НВП. — Она загибала пальцы и сбилась. — Девятнадцать из девятнадцати.

— Бывает.

— Не бывает, — сказала Лиля. — Ты знаешь, что для этого надо? Чтобы ни разу случайно не получить пятёрку, надо знать на пять. А чтобы ни разу случайно не получить тройку — тоже надо знать на пять. Девятнадцать раз подряд. — Она помолчала. — А политинформацию ты рассказал своими словами. Только слова были не твои. Из «Правды» за прошлую среду. Я проверила. Подшивка вон там, на третьей полке.

Я посмотрел на третью полку. Подшивка там действительно стояла. Я её и читал.

— Я хорошо запоминаю, — сказал я.

— Я заметила.

Она не улыбалась. Она смотрела на меня так же, как в первый день в классе, когда я входил и считал выходы. Только теперь она уже знала, что я их считаю.

— Я никому не скажу, — сказала Лиля. — Мне незачем. Мне просто интересно — зачем.

— Чтобы не трогали.

— Тебя всё равно трогают.

— Меньше.

Она подумала над этим. Кивнула — не соглашаясь, а принимая к сведению.

— Студент про тебя опять спрашивал, — сказала она. — Сколько ты у Сухого пробыл. Ему сказали — сорок семь минут. Знаешь, что он сказал? «Долго. Значит, интересный».

Мальчишка в болоньевой куртке у коробки. Часы на руке.

— Марсель за меня кому хочешь голову оторвёт, — сказала Лиля. — Он хороший. Правда хороший. Но делает он то, что скажет Артур. Скажет пригласить — пригласит. Скажет проверить — проверит. — Она провела пальцем по краю тетради. — У нас хорошие все при ком-нибудь. Ильдар при Кирпичке. Марсель при Артуре. Только ты ни при ком.

— А ты?

— А я при Марселе, — сказала Лиля. — Поэтому и говорю. Я не за тебя волнуюсь, Белозёров. За него. Если ты такой, как я думаю, лучше бы Марселю тебя не проверять.

Библиотекарша кашлянула: мы говорили слишком громко для читальни. Лиля понизила голос.

— Ты мне так и не сказал, — сказала она, — почему Румата зря снял обруч.

В первый день, на комсомольском учёте, я сказал ей это и не объяснил. Она две недели держала это в голове.

— Пока на нём был обруч, — сказал я, — его видели. С Земли. Он был наблюдатель. Снял — и его больше никто не видел.

— И?

— Когда тебя никто не видит, можно всё.

Лиля долго смотрела на меня. За окном читальни зажёгся фонарь, и свет лёг на её косу.

— А может, он просто стал человеком, — сказала она.

Я ничего не ответил.

— А ты, Белозёров, — тихо спросила Лиля, — свой обруч когда снимешь?

— Я его не ношу.

— Вот это меня и пугает, — сказала она.

Она собрала тетради, кивнула библиотекарше и ушла. Я остался в читальне и сидел, пока не закрыли, — с подшивкой «Правды» за прошлую среду, которую мне не нужно было читать второй раз.

* * *

Воскресенье, 25 ноября

В воскресенье в шесть вечера за отцом заехал заводской «рафик». На заводе сдавали машину заказчику, и ночью шёл контрольный прогон: двенадцать часов без остановки, и если ЕС-1033 за эти двенадцать часов ни разу не собьётся, акт подпишут. Отец был наладчиком этой машины. Он собирался, как на свидание.

— Утром, Оля! — сказал он в дверях. — Утром — либо орден, либо выговор!

Маме в половине седьмого надо было на смену. Не свою: у Валентины Ивановны из их отделения сын женился в Зеленодольске, и мама её подменила. Она стояла в прихожей в пальто и смотрела на Настю.

Настя с обеда была вялая. Чихала, тёрла глаза, не доела суп. В пять мама поставила ей градусник: тридцать семь и четыре. Посмотрела горло, ложкой, у окна.

— Красное, — сказала она. — Немножко. Ерунда, пыли наглоталась. — Она повернулась ко мне. — Максим. Пить ей давай много, тёплого. Чай с малиной — банка на верхней полке.

Если поднимется выше тридцати восьми с половиной — полтаблетки аспирина. Аспирин в аптечке, в коробке с бинтами. Если выше тридцати девяти — обтирать водой с уксусом, не холодной. Утром в половине девятого я дома.

— Хорошо.

Она постояла ещё.

— Может, не идти, — сказала она. Не мне. Себе.

— Мам, иди, — сказала Настя с дивана хриплым голосом. — У меня Макс есть.

Мама засмеялась, поцеловала её в лоб, меня — в макушку, и ушла.

Я остался с Настей, «Рубином» и аптечкой.

В аптечке, в коробке с бинтами, был йод, зелёнка, вата, пачка анальгина, в которой осталась одна таблетка, и пачка аспирина. В пачке аспирина было две таблетки. Остальные, видимо, ушли в Вологде, пока собирали вещи: у отца перед отъездом неделю болела голова.

Две таблетки. Четыре половинки.

Я посчитал и решил, что хватит.

В восемь было тридцать восемь и шесть. Я дал половинку, с чаем. Настя морщилась и говорила, что горько. Потом мы смотрели «Рубин», и она заснула у меня на плече, горячая, как печка, и дышала ртом.

В десять было тридцать девять и одна. Я дал вторую половинку. Обтёр её водой с уксусом — руки, ноги, лоб, — как говорила мама. Настя дрожала и говорила, что холодно, хотя под рукой у меня она была как батарея.

В половине двенадцатого было тридцать девять и пять.

Я дал третью половинку. Аспирин не работал. Или работал меньше, чем поднималась температура. Я сидел на краю её кровати, держал её запястье и считал. Пульс сто тридцать восемь. Дыхание — тридцать шесть в минуту. Губы сухие, в трещинках. Щёки красные, а под ними, у носа и вокруг рта, — белое. Мама называла это как-то по-латыни, когда я болел в четвёртом классе. Я не помнил как. Я помнил только, что мама тогда сразу стала другая — врачом, а не мамой.

Настя открыла глаза.

— Макс, — сказала она. — А башня упадёт?

— Какая башня?

— Сююмбике. — Она говорила медленно, как будто слова у неё были тяжёлые. — Мы с Гульназ подпорку нарисовали. А если подпорка сломается?

— Не сломается. Её Гульназин папа строил.

— А... — Она закрыла глаза. — Тогда ладно.

Она заснула. Или не заснула — я не мог понять. Дыхание было частым и поверхностным.

В двенадцать сорок градусник показал тридцать девять и девять.

Я посмотрел на него дважды. Потом стряхнул и поставил снова. Через семь минут он показал то же самое.

Последняя половинка аспирина лежала на блюдце. Одна таблетка анальгина — рядом. Мама говорила: аспирин. Про анальгин она не говорила ничего, а детям его, кажется, давали не так, я не знал как. Я не знал. За пятнадцать лет со мной это бывало редко.

Телефона у нас не было. Телефоны в этом доме были в трёх квартирах из тридцати шести, и на телефон стояли в очереди так же, как Фания-апа на квартиру. Ближайший автомат был у гастронома, и в нём с пятницы не было трубки: её срезали, я видел болтающийся обрывок шнура, когда в субботу шёл в библиотеку. Следующий — у остановки, у пивного ларька. Пятьсот шагов. Если работает.

На нашей площадке было четыре квартиры. Галия-апа в Челнах до среды. В двадцать первой жил старик Нурисламов, который в десять вечера вынимал из уха слуховой аппарат и клал его в стакан. Двадцать вторую я ни разу не видел открытой.

Мама на смене, на другом конце города. Отец — на заводе, у машины, которая двенадцать часов не должна сбиться.

Настя заворочалась и сказала что-то, чего я не разобрал. Что-то про подпорку.

Я встал, подошёл к окну, сбоку, как всегда, и посмотрел на город. Гаражи. Котельная с лампочкой над дверью. Пустырь, теплотрасса, забор с тремя дырами. Мост. За мостом — огни Депо, водонапорная башня, тёмная громада клуба.

И где-то там, у железнодорожной поликлиники, — лампа над дверью, которая горела даже днём.

Дежурная аптека была одна. За мостом.

Глава 7. Дежурная аптека

Ночь с 25 на 26 ноября 1979 года

Тридцать девять и девять — это ещё не сорок. Я повторил это себе дважды, и оба раза не помогло.

Я сидел на краю Настиной кровати и держал её за запястье. Кожа была сухая и горячая, как бумага, которую подержали над плитой. Пульс сто сорок два. На четыре больше, чем час назад. Дыхание — тридцать восемь в минуту. На два больше.

Я умею считать. Я считаю всю жизнь. Но раньше цифры всегда были про других.

Мама говорила, когда я болел в четвёртом классе, — я тогда лежал с ангиной и слушал, как она объясняет отцу на кухне: у детей до шести лет на высокой температуре бывают судороги, после шести — реже. Насте девять. Реже — это не «никогда». Реже — это просто другая цифра.

Последняя половинка аспирина лежала на блюдце. Я дал её в двенадцать пятьдесят. Больше в доме не было ничего, что сбивает жар, кроме одной таблетки анальгина, про которую мама не сказала ни слова. Я не знал, сколько анальгина можно девятилетней девочке. Я не знал. Я запомнил это ощущение. Оно было хуже, чем мне казалось раньше, когда я читал про него в книгах.

В двенадцать пятьдесят две я встал.

* * *

Телефон травмпункта мама записала на бумажке и сунула за раму зеркала в прихожей — в первый же вечер, «на всякий случай, если соседи позвонить дадут». Синие чернила, мамин почерк с наклоном влево: «Травмпункт 3-й гор. больницы. 37-15-07. Спросить Белозёрову».

Я сунул бумажку в карман. Из банки на кухне, где отец держал мелочь на троллейбус, взял четыре двушки. Из маминого конверта с хозяйственными деньгами, в ящике под ложками, — рубль. Записал на конверте карандашом: «1 р. — М.», чтобы мама утром не думала, что кто-то залез.

Мама утром всё равно подумает. Но про другое.

Оделся быстро: свитер, школьные брюки, пальто, ботинки на шерстяной носок. Шапку. Варежки не взял: варежки — это пальцы, которых нет.

Настя открыла глаза, когда я наклонился над ней.

— Ты куда?

— За лекарством. Двадцать минут.

— Не уходи.

— Двадцать минут, — повторил я. — Вот вода. Вот кружка. Если захочешь пить — пей. Не вставай. Дверь я закрою на ключ.

Она смотрела на меня мутно, из-под горячих век. Потом сказала:

— Ты всегда знаешь, сколько времени.

— Да.

— Тогда ладно, — сказала Настя и закрыла глаза.

Я поставил будильник на тумбочку, циферблатом к ней, чтобы она видела стрелки, если проснётся. Без пяти час. Запер дверь на оба замка — второй отец врезал в четверг, как обещал. Ключ положил в левый внутренний карман, к сердцу. Туда же потом лягут лекарства. Левый внутренний — единственный, до которого не дотянешься, если человек стоит к тебе лицом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.